Исаак
Бабель
том 2
собрание
сочинений



том 2

собрание
сочинений

исаак
БАБЕЛЬ

Исаак

Бабель

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в четырех томах

Исаак

Бабель

ТОМ ВТОРОЙ

Конармия
Статьи из “Красного кавалериста”
Дневник 1920 года
Планы и наброски

москва 2006



ББК 84Р7-4
Б12

Макет, оформление
Валерий Калныньш

Б12 **Бабель И. Э.**
Собрание сочинений. Т. 2. — М.: Время, 2006. — 416 с.

ББК 84Р7-4

ISBN 5-9691-0151-6 (т. 2)
ISBN 5-9691-0154-0 (общий)

Киндербальзам среди кентавров

В год от начала новой эры седьмой (от рождества Христова — 1924-й) командарм Буденный, «въехав в литературу на коне и с высоты коня критикуя ее» (Горький), обнаружил, что под его началом служил клеветник, садист и дегенерат от литературы — гражданин Бабель. «Под громким, явно спекулятивным названием “Из книги Конармия”, незадачливый автор попытался изобразить быт, уклад, традиции 1-й Конной Армии в страдную пору ее героической борьбы на польском и других фронтах. Для того чтобы описать героическую, небывалую еще в истории человечества борьбу классов, нужно прежде всего понимать сущность этой борьбы и природу классов, то есть быть диалектиком, быть марксистом-художником. Ни того, ни другого у автора нет… Гражданин Бабель рассказывает нам про Красную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет».

Через шесть лет «рядовой буденновец» Вс. Вишневский, посылая т. Горькому свою версию — драму «Первая Конная»,— дудел в ту же трубу. «Несчастье Бабеля в том, что он не боец. Он был изумлен, испуган, когда попал к нам, и это странно-болезненное впечатление интеллигента от нас отразилось в его “Конармии”. Буденный мог оскорбиться и негодовать. Мы, бывшие рядовые бойцы, тоже. Не то дал Бабель! Многого не увидел. Дал лишь кусочек: Конармия, измученная в боях на Польском фронте. Да и то не всю ее, а оскол-

ки. Верьте бойцу — не такой была наша Конармия, как показал Бабель».

С Буденным за Бабеля воевал будущий командарм советских писателей. Сам автор не отбивался, а объяснялся и соглашался.

«Что я видел у Буденного, то и дал. Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще многого о Красной армии, дам, если сумею, дальше»,— говорит он Д. Фурманову, автору «Чапаева», издательскому редактору, в 1925 году, используя даже стилистику еще не написанного послания Вс. Вишневского (дал — не дал).

В начале 1930-х на одном писательском собрании он берет в союзники и самого командарма: «…Я перестал писать потому, что все то, что было написано мною раньше, мне разонравилось. Я не могу больше писать так, как раньше, ни одной строчки. И мне жаль, что С. М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей "Конармии", ибо "Конармия" мне не нравится».

Обещания исправиться и исправить, дать «то» — может быть, к счастью — остались неисполненными.

Книга из 34 рассказов (хотя Фурманову Бабель говорил о 50) сложилась за три года и потом переиздавалась в неизменном виде. Уже в 1930-е годы Бабель опубликовал еще два «хвоста» («Аргамак», с датировкой 1924–1930, и «Поцелуй», 1937) и даже успел включить первый текст в очередное издание. Стилистически рассказы написаны «так, как раньше». Сюжетно они отчасти дублируют другие вещи («Аргамак» — «Историю одной лошади» и «Моего первого гуся», «Поцелуй» — «Переход через Збруч» и «Вдову»). Возможно, эти тексты нашли бы свое место где-то в середине сборника. Но механическая постановка их в конец ломает продуманную и

сложившуюся структуру. Сегодня их место — в приложении. Книга прекрасно обходится без них. Эти рассказы лишь дополняют «основной текст», как дополняют «одесские рассказы» другие сочинения на ту же тему.

К завершенной, классической «Конармии» Бабеля привели три шага, три ступени преобразования сырого жизненного материала в произведение искусства.

ПУТЬ

С неба полуденного
жара не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Н. Асеев

Польский поход был предпоследним значительным эпизодом Гражданской войны (впереди — штурм Перекопа) и последней отчаянной попыткой экспорта русской революции на Запад. Захват поляками Киева, ответное наступление Первой Конной на Варшаву, страшное поражение («Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает. — Да, — говорю я». — «Замостье»), откат на Украину, мирный договор и фиксация границ (до 1939 года) — все это к середине 1920-х превратилось в ближнюю историю, еще кровоточащую, но уже твердеющую, покрываемую хрестоматийным глянцем (отсюда — протесты Буденного и «рядовых буденновцев»).

Автор будущей «Конармии» участвовал в польском походе (май — ноябрь 1920 года) с документами на имя Кирилла Васильевича Лютова. В газете «Красный кавалерист» «военный корреспондент 6-й кавдивизии» публикует заметки — о героических бойцах, героических сестрах милосердия, зверях-врагах. «В наши героические, кровавые и скорбные списки надо внести еще одно имя — незабвенное для 6 дивизии, — имя командира 34 кавполка Константина Трунова, убитого 3.III в бою под К. Еще одна могила спрячется в тени густых Волынских лесов, еще одна известная жизнь, полная самоотвержения и верности долгу, отдана за дело угнетенных, еще одно пролетарское сердце разбилось для того, чтобы своей горячей кровью окрасить красные знамена революции».

«Вот они, наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами! Бойцы и командиры, уважайте сестер. Надо наконец сделать различие между обозными феями, позорящими нашу армию, и мученицами-сестрами, украшающими ее».

«Польская армия обезумела. Смертельно укушенные паны, издыхая, мечутся в предсмертной агонии, нагромождая преступление на глупость, погибают, бесславно сходя в могилу под проклятия и своих и чужих».

Этот стиль идеологических лозунгов и банальностей, пышных метафор и риторических фигур, конечно, понравился бы командиру Первой Конной. Да и возможно ли было иное в армейской газете? Но в бабелевских рассказах такая стилистика стала эпизодическим «чужим словом» — объектом остраненного рассмотрения и тонкой эстетической игры. «— Бойцы! — сказал тогда, гля-

дя на покойника, Пугачов, командир полка, и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь…

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах» («Эскадронный Трунов»).

Параллельно, «для себя», Бабель ведет дневник. Он был утерян, сохранился чудом и опубликован через много лет после гибели автора. Здесь — подробная хроника похода, откровенные оценки и своих, и врагов. Героические формулы газетных статей корректируются картинами жестокостей, грабежей, пьяного разгула, эротики. «Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.

После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопили на всю площадь».

«Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка… Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги».

«Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами».

«Разговор с комартдивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы. Это просто средство, которым не брезгует партия».

Бабель был расстрелян через двадцать лет после конармейского похода. «Можно удивиться тому, что в следственном деле и присоединенных к нему доносах почти ничего не говорится ни о претензиях Буденного, ни об обвинениях в клевете на Конармию. В приговоре Бабель признан виновным “всего лишь” в том, что был активным членом контрреволюционной троцкистской организации, вел шпионскую деятельность в пользу французской и австрийской разведки и готовил террористические акты против партийно-правительственного руководства, — замечает польский литературовед, переводчик Бабеля Е. Помяновский. — Я считаю, что, будь известно содержание его военного дневника, приговор был бы вынесен раньше».

Сохранились также планы и наброски к «Конармии». Повторяющие дневник по материалу, они содержат важные замечания о форме, художественной структуре будущей книги. «Рассказ стремителен и быстр. — Короткие главы, насыщенные содержанием. — По дням. Коротко. Драматически. — Никаких рассуждений. — Тщательный выбор слов. — Форма эпизодов — в полстраницы. — Без сравнений и исторических параллелей. — Просто рассказ. — Стиль, размер. — Поэма в прозе». Последнее определение повторяется трижды.

Повторяясь, ощупью Бабель ищет и, в конце концов, находит эстетическую формулу, в которую укладывается привычный в 1920-е годы материал боев и походов: поэма в прозе, стремительный и быстрый рассказ, становящийся поэзией.

ЖАНР

Локти резали ветер, за полем — лог,
Человек добежал, почернел, лег.
Лег у огня, прохрипел: «Коня!» —
И стало холодно у огня.

Н. Тихонов

«Бабель прекрасно вписывается в советский литературный пейзаж 20-х годов. “Конармия” тематически стоит в одном ряду с партизанскими рассказами и повестями Всеволода Иванова, и с “Чапаевым” Фурманова, и с “Разгромом” Фадеева, и с великим множеством иных сочинений о Гражданской войне. Ее натурализм и жестокость, буйство темных, стихийных сил, раскованных революцией, нисколько не примечательнее и не страшнее, чем у того же Всеволода Иванова или Артема Веселого. Ее цветистый слог нисколько не цветистее и не ярче, чем волшебная словесная ткань Андрея Платонова, или отважные эксперименты “Серапионовых братьев”, или неповторимый колорит “Тихого Дона”» (Ш. Маркиш).

Это так и одновременно совсем не так. Совпадая со многими современниками тематически, Бабель отталкивался от них эстетически, прежде всего — жанрово.

«Чапаев», «Разгром», «Россия, кровью умытая», «Тихий Дон», главные книги Платонова («Чевенгур», «Котлован») были разнообразными трансформациями романа. В партизанских повестях Вс. Иванова и великом множестве иных сочинений о Гражданской войне очевидна была натуралистическая, очерковая основа. Такие

«военные физиологии» с психологическими подробностями, разветвленностью, неспешностью большой формы — были жанрово аморфными. Применить к ним критерии краткости, тщательного выбора слов, размера решительно невозможно. Ближайшим эстетическим соратником автора «Конармии» становится писатель, начавший чуть раньше и предельно далекий по материалу. «Под пушек гром, под звоны сабель от Зощенко родился Бабель», — фиксировала эту связь эпиграмма 1920-х годов. Судьба того и другого связана с малыми жанрами русской прозы.

В 1937 году в беседе с молодыми литераторами Бабель, объявляя Льва Толстого главным, с его точки зрения, русским писателем («Мне кажется, что у нас начинающие литераторы мало читают и изучают Льва Николаевича Толстого, пожалуй, самого удивительного из всех писателей, когда-либо существовавших»), в то же время объяснял — почти физиологически, — почему он не может следовать толстовскому методу. «Дело вот в чем, в том, что у Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках, причем он помнил все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал. Отсюда и появился этот жанр новеллы».

Бабель прекрасно видит и описывает некоторую чуждость «этого жанра» на русской почве. «Мне кажется, что о технике рассказа хорошо бы поговорить, потому что этот жанр у нас не очень в чести. Надо сказать, что и раньше этот жанр у нас никогда в особенном расцвете не был, здесь французы шли впереди нас. Собственно, настоящий новеллист у нас — Чехов. У Горького большинство

рассказов — это сокращенные романы. У Толстого — тоже сокращенные романы, кроме “После бала”. Это настоящий рассказ. Вообще у нас рассказы пишут плоховато, больше тянутся на романы».

В сущности, о том же через много лет скажет И. Бродский: «Мы — нация многословная и многосложная; мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных».

«Если тебе дадут лист бумаги — пиши поперек». Бабель идет поперек этой традиции: «Мое отношение к прилагательным — это история моей жизни. Если бы я написал свою биографию, то я назвал бы ее “История одного прилагательного”».

Естественно, рабочее определение новеллы он находит не «здесь», а «там». «В письме Гете к Эккерману я прочитал определение новеллы — небольшого рассказа, того жанра, в котором я себя чувствую более удобно, чем в другом. Его определение новеллы очень просто: это есть рассказ о необыкновенном происшествии. Может быть, это неверно, я не знаю. Гете так думал».

Прикоснувшись к новому обжигающему материалу («Почему у меня непреходящая тоска? Потому что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде»), Бабель стал создателем нового рассказа, сочетающего поэтику бытовой «новости» и модернистской экспрессивности и эксцентричности.

«Конармия» — книга «необыкновенных происшествий», новелл-пятиминуток. В этом, жанровом, контексте Бабель ближе не Фадееву с Платоновым, а Зощенко, автору «Рассказов Синебрюхова», с его идеей неописуемости новой реальности старыми художественными средствами.

Бабель домовито обустраивает этот малый, фрагментарный жанр, делая его разнообразным, богатым возможностями и перспективами.

В книге есть новеллы в точном смысле слова — анекдоты, случаи, необыкновенные происшествия с обязательной пуантой, точкой, неожиданной, ошарашивающей читателя концовкой.

В незнакомом доме рассказчик, не подозревая об этом, спит рядом с трупом («Переход через Збруч»). С помощью ловкого трюка конармеец выдает издыхающего доходягу коня за «справную кобылку» («Начальник конзапаса»). Грудной ребенок, которого всю ночь трогательно опекает другой конармеец, оказывается мешком соли, — и Балмашов «кончает» спекулянтку-обманщицу («Соль»). Дезертир-дьякон, выдающий себя за глухого, после трехдневных истязаний конвоиром, действительно теряет слух («Иваны»).

В других случаях необыкновенное происшествие в рассказе отсутствует. Люди просто едут куда-то, разговаривают, пишут письма, поют… Но сюжет и здесь строится по законам новеллы, а не сокращенного романа. Заменой событийной новеллистической точки становится слово («Ужели слово найдено?»), эффектный афоризм, который вспыхивает в концовке текста и разрешает накапливающееся на протяжении новеллы напряжение и ожидание.

«…Я понял жгучую историю этой окраины…» («Учение о тачанке»). «И мы услышали великое безмолвие рубки» («Комбриг два»). «О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?» («Кладбище в Козине»). «…А увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на

земле хватает, то, может, и не увидимся» («Продолжение истории одной лошади»).

«То или иное бабелевское словцо, та или иная магическая формулировка становится гравитационным центром эпизода, — замечает исследователь черновиков “Конармии” Э. Коган. — В особых случаях подобный словесный сгусток возникает априорно, до ситуации. Он кочует из эпизода в эпизод, и автору приходится примерять не одну сюжетную оправу, пока она не сольется с драгоценной находкой».

Традиционная новелла-ситуация, новелла-анекдот соседствует в «Конармии» с новеллой-формулой, новеллой-афоризмом. Естественно, бывают случаи, когда «словцо» подпирает и подтверждает новеллистическую точку. «Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть…» — завершает герой свой рассказ о страшной мести веселому барину Никитинскому («Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча»). «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…» — хрипит Афонька Бида после выстрела в Долгушова («Смерть Долгушова»).

Другим способом художественного разнообразия становится у Бабеля форма повествования.

Большая часть книги (23 из 24 новелл) написана в манере личного повествования — от автопсихологического героя, свидетеля и участника событий. Лишь в четырех случаях он назван Лютовым.

В остальных новеллах это просто «я» с не всегда совпадающими биографическими деталями. В такой же манере исполнен и позднейший «Аргамак».

В семи новеллах Бабель демонстрирует классическую сказовую манеру. Перед нами слово героя, живописный парадоксальный характер, создаваемый не просто действием, но и чисто языковыми средствами. Это знаменитое «Письмо» Васьки Курдюкова о том, как «кончали» врагов отца и сына (вариация «Тараса Бульбы»); другое письмо мрачного и загадочного Соколова с просьбой отправить его делать революцию в Италии («Солнце Италии»); еще одно письмо и объяснительная записка следователю Никиты Балмашова («Соль», «Измена»); обмен посланиями между Савицким и Хлебниковым («История одной лошади», «Продолжение истории одной лошади»); рассказ-исповедь Павличенко («Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча»).

Фактически чужим словом оказывается и примыкающий к книге поздний рассказ «Поцелуй», героем которого обычно считают Лютова. На самом деле персонаж-повествователь имеет существенные отличия от «очкастого» (он командир эскадрона, «ссадил в бою двух польских офицеров», щеголяет кровожадностью) и должен рассматриваться как объективный герой с интеллигентским, а не просторечным сказом.

В новелле «Прищепа» повествователь ссылается на рассказ героя, но воспроизводит его от себя, изображая сознание, но не речь центрального персонажа.

Наконец, три новеллы («Начальник конзапаса», «Кладбище в Козине», «Вдова») и вовсе обходятся без личного повествователя

и рассказчика. Они исполнены в объективной манере, от третьего лица. Но и здесь чистый анекдот о хитреце Дьякове (самая светлая и «беспроблемная» новелла книги) резко отличается от стихотворения в прозе, лирического вздоха на еврейском кладбище (самая короткая и бесфабульная новелла).

Бабель мобилизует скрытые возможности малого жанра, испытывает его на прочность, разнообразие, глубину.

Печатая первоначальные тексты бог знает где (в одесских «Известиях» и журнале «Шквал», «Правде», «Прожекторе», «Лефе», «Красной нови»), Бабель, как доказывает Р. Буш, все время имел в виду образ целого: первые газетно-журнальные публикации — на уровне сочетаемости новелл — композиционно воспроизводят структуру «Конармии» в окончательном варианте.

Книга стихов с ее особой конструкцией стала привычной формой уже в XIX веке («Сумерки» Баратынского, «Вечерние огни» Фета) и окончательно утвердилась в веке Серебряном (Анненский, Блок, Ахматова, Пастернак и многие другие).

Книги рассказов, кажется, одним из первых начал строить Чехов («Хмурые люди», «В сумерках», «Детвора»). Хотя были ведь и «Повести Белкина», и опыты романтиков («Русские ночи» В. Одоевского)!

«Конармия» как книга новелл становится метажанром, аналогом и конкурентом романа (другой пример такого рода — «Сентиментальные повести» Зощенко).

Новизну бабелевской структуры хорошо почувствовал С. Эйзенштейн, автор фильма «Броненосец “Потемкин”», уже успевший поработать с писателем над сценарием «Бени Крика». В статье

1926 года он объявил: «Понимание кино сейчас вступает во “второй литературный период”. В фазу приближения к символике языка. Речи. Речи, придающей символический смысл (то есть не буквальный), “образность” — совершенно конкретному материальному обозначению — через несвойственное буквальному — контекстное сопоставление, то есть монтажом.

В одних случаях — при сопоставлении неожиданном или необычайном — оно действует как “поэтический образ”. — “Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения” (Бабель)».

Пример из «Смерти Долгушова» не случаен, а принципиален. Через два года Эйзенштейн скажет, что Бабель «навсегда останется незаменимой подсобной “хрестоматией” для новой кинообразности».

Структура «Конармии», таким образом, может быть органично описана на языке другого искусства: как монтаж кадров-кусков внутри новеллы и монтаж новелл-эпизодов в целое книги. При этом частые начальные заставки («Начдив шесть донес, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете». — «Начдив и штаб лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья». — «Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке») и формулы-афоризмы («Помрем за кислый огурец и мировую революцию…» — «Конь — он друг… Конь — он отец…») могут быть интерпретированы как титры этого живописного немого кино.

МИР

Тяжелый строй, ты стоишь Трои,
Что будет, то давно в былом.
Но тут и там идут герои
По партитуре напролом. <…>
Рождается троянский эпос…

Б. Пастернак

В любом художественном построении наиболее значимы, важны, маркированы начало и конец. «Конармия» начинается «Переходом через Збруч». В этом полуторастраничном тексте экспонированы почти все темы и мотивы, ставшие структурной основой книги.

«В “Переходе через Збруч” нет этого перехода…» (Ф. Левин). Справедливости ради отметим, что переход в новелле все-таки есть, но ему посвящен всего один живописно-изобразительный кадр, половина абзаца: «Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит Богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям».

По отношению к концовке новеллы заглавие ее действительно «обманчиво», маскирующе. Оно — зарубка для памяти, точка на

карте, формальное обозначение места (ср. «Костел в Новограде», «Путь в Броды», «Кладбище в Козине», «Берестечко», «Замостье», «Чесники»). Но одновременно — в перспективе книги — заглавие вводит ключевой хронотоп — пути, дороги, по которой едут куда-то с криком, ругательствами, песнями люди на лошадях.

Роскошный полдень сменяется вечером, потом ночью. Солнце, луна, звезды станут опорными деталями пейзажного описания, однако уже не развернутого, как в первой новелле, а сверхкраткого, упакованного в одну-две фразы, а то и просто в сравнение или эпитет.

Дорога приводит в дом, причем чужой, — место ночевки, случайное пристанище (ср. образ родного дома в «Белой гвардии» М. Булгакова).

Дом этот — еврейский, и судьба еврейского мира и стоящей за ним философии станет постоянной темой книги («Гедали», «Рабби», «Сын рабби»).

Мимоходом, мгновенным проколом в первом же абзаце-кадре дана историческая параллель: «…наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым».

С нее начинается настойчиво проведенный через всю новеллу мотив смерти: оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова; запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу; все убито тишиной; начдив шесть гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза.

Смерть, как вода, разлита в природе, в истории, проникла даже в сны. Так подготовлен поразительный финал, новеллистическая точка: «Она… снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо

разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца».

В замыкающих новеллу словах беременной дочери (еще один монтажный стык: будущее рождение и уже состоявшаяся смерть) звучат не скорбь или жалость, а какая-то нечеловеческая гордость. «Пане, — говорит еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, — он кончался в этой комнате и думал обо мне… И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец…»

За сухой строкой военной сводки открывается мир нечеловеческой красоты и шекспировских страстей.

Первыми убийцами книги оказываются поляки, номинальные враги. Но дальше все смешивается, расплывается, превращается в кровавую кашу. В «Конармии» нет ни одной естественной кончины (внезапно, но без чужой помощи умрет лишь старик в позднем рассказе «Поцелуй»). Зато множество пристреленных, зарезанных, замученных. В 34 новеллах крупным планом даны 12 смертей, о других, массовых, упоминается мимоходом. «Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. — Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство».

В «Стихах о неизвестном солдате» О. Мандельштам напишет о «миллионах убитых задешево… небе крупных оптовых смертей». Действие бабелевской книги тоже происходит под этим небом.

Папаша режет сына-красноармейца, а другой сын кончает папашу («Письмо»). Павличенко топчет бывшего барина («Жиз-

неописание Павличенки…»). Конкин крошит шляхту, потом вместе с однополчанином снимает винтами двоих на корню, еще одного Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов, наконец, рассказчик облегчает гордого старика поляка («Конкин»). Никита Балмашов с помощью верного винта тоже кончает обманщицу-мешочницу («Соль»). Трунов всунул пленному саблю в глотку, Пашка разнес юноше череп, потом неприятельские аэропланы расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова («Эскадронный Трунов»). Бельмастый Галин, сотрудник «Красного кавалериста», со вкусом расписывает насильственные смерти императоров. «В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства… Об этом вам надо знать, Ирина…» («Вечер»).

Какое многообразие синонимов! И среди них нет ни одного, обозначающего простую, естественную смерть.

«Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен…

— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И смерть присуждает очень просто…» («Иваны»).

В мире «Конармии» трудно спастись и выжить не только людям. «Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел» («Путь в Броды»). «Опаленный и рваный,

виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил» («Прищепа»). «Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил» («Афонька Бида»).

«Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца», — сказано в «Пути в Броды» сразу после сожаления об умирающих пчелах.

Большинство страниц книги окрашены в самый яркий цвет — красный. Потому и солнце здесь похоже на отрубленную голову, и пылание заката напоминает надвигающуюся смерть, и осенние деревья качаются на перекрестках, как голые мертвецы.

Кровь и смерть уравнивают своих и чужих, правых и виноватых. «…Он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех» («Эскадронный Трунов»).

«Что такое наш казак? — записывает Бабель в дневнике. — Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость. Мы авангард, но чего?»

В «Конармии» новеллы-кадры монтируются на контрасте, противоречии — без утешительных связок и успокаивающих размышлений.

Один раздевает пленных и трупы; другой грабит костел; третий мучит несчастного дьякона, своего неузнанного двойника; четвертый героически гибнет в схватке с аэропланами; пятый видит измену даже в госпитале среди лечащих врачей; шестой мгновенно становится умелым комбригом с «властительным равнодушием татарского хана»; седьмой мечтает убить итальянского короля, чтобы разжечь революционный пожар; восьмой, конармейский Христос, тихо-мирно ездит в обозе и играет на гармошке; девятый по

дури приказывает сечь собственную пехоту, серую скотинку; десятый предпочитает любимую лошадь партии…

Перечитывающий Бабеля в конце 1950-х годов режиссер Г. Козинцев (еще один режиссер!) с восторгом обнаружил в его книгах «горящий миг увиденной жизни» и заметил, что писатель открыл целый «континент» — «бойца Гражданской войны». «Бабеля трясла лихорадка открытий. Золото оказалось под ногами. И все было новое, еще не открытое, не описанное… Не описаны слова, выражения, склад речи множества людей, целых пластов людей. Они еще не говорили в литературе. А это чистое золото контрастов, своеобразия выразительности, “антилитературности” их речи. Не открыты их характеры, отношения, как они умирают и любят».

Обитатели бабелевского континента — люди на лошадях, нравственные кентавры. Их объединяет интенсивность внешних проявлений, предельность чувств, страсть — к лошадям, партии, женщине, революции. Участники только что отгремевшей войны, они гиперболизированы, укрупнены, даны в далевой эпической перспективе. То ли гоголевские запорожцы, то ли «ахейские мужи», отправившиеся в поход на Варшаву за Еленой — мировой революцией.

С запорожцами бабелевских казаков сравнил уже Горький: «Бабель украсил бойцов… изнутри, и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Е. Помяновский, возражая, продолжает: «Нет, не украсил. Он лишь перенес их на другой этаж, на уровень сказа, той формы эпоса, которая самим способом повествования облагораживает героев. И начало “Илиады” было бы только историей склоки двух немытых атаманов, схватывающихся врукопашную из-за девки, если бы не серьезность и блеск, кото-

рые Гомер своим гекзаметром повелевает нам видеть в этом скандале».

Объективный эпический взгляд многое объясняет в поэтике «Конармии».

Спокойствие, внешнюю бесстрастность, с которой повествуется о трагическом, прежде всего — об убийстве. Самый знаменитый, всех поражавший пример из «Берестечка»: «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно…

И казаки завернули за угол».

Натурализм описаний и предметных деталей. Предельный, знаковый кадр — в новелле «Иваны»: «Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Она выливалась у него изо рта, брызгала между зубов и стояла в пустых глазницах». (Последняя деталь казалась настолько «неэстетичной», что неизменно вычеркивалась в посмертных изданиях.)

Своеобразие «феминистской темы». Любовь в «Конармии» — не романтические свидания при луне (они есть лишь в позднем рассказе «Поцелуй»), не декадентски-изломанные прихотливые

чувства, а открытая, откровенная страсть, ломающий все преграды эрос. «Дама всех эскадронов» Сашка с цветущим вонючим телом и чугунными стройными ногами похожа на языческую богиню. Прачка Ирина на глазах влюбленного и «развивающего» ее Галина уходит спать с мордатым поваром Василием («Вечер»). Побирушка заражает сифилисом отца и сына, и тем не менее вернувшийся домой Тараканыч не выдержал и переспал со своей женой («Сашка Христос»).

Отодвигаясь в эпическую перспективу, последняя война становится историей. Но в то же время история делается еще одной ее жертвой, перемалываемой жерновами воюющих сторон. Сочувствие и жалость вызывают не только люди, но и разгромленное предание.

«Жгучая история этой окраины» складывается, по Бабелю, из соседства нескольких племен. «Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой». На кладбище в Козине мирно лежат четыре поколения за триста лет. И теперь еще люди ходят в синагогу, спорят о хасидизме, празднуют субботу. Однако происходит все это уже на ином фоне. «Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь… Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий».

В «Замостье», просыпаясь внезапно после страшного сна, в котором неразрывно сплелись, смешались, как молоко с кровью, эрос и танатос, повествователь попадает в другую жуть. «И в тишине я

услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет… <…>

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется! — вскричал мужик…»

Из этой, еврейской среды и культуры выходят два примечательных еретика. Один, старый лавочник, словно сбежавший из романов Диккенса, мечтает о сладкой революции и несбыточном Интернационале. «И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие» («Гедали»).

Другой, юноша с лицом Спинозы, сын рабби, большевик, умирает на безвестной станции под Ровно. Смерть последнего принца — конец той, хасидской культуры.

Польское в «Конармии» столь же объемно и неоднозначно. Костел — постоянная примета пейзажа: «Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля… Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня». Поляк (как и казак) «жидов режет». Но поляки — это и несчастные

истребляемые пленные, и бессмысленно-гордые шляхтичи, и бесстрашно защищающий свой храм старый звонарь.

В польском племени обнаруживается и свой еретик. Пан Аполек, странный бродячий художник, — один из немногих в мире «Конармии», кто не разрушает, а созидает. Он работает по заказу, но не продается. Он, как живописцы Возрождения, соединяет земное и небесное, переносит на иконы здешнюю земную жизнь, превращая грешников в святых. Он лелеет собственный апокриф — о Христе, пожалевшем несчастную Дебору, родившую от него сына, которого «скрыли попы».

В споре о его искусстве, при всей его забавности, проговариваются необычайно важные для самого Бабеля вещи. «— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан Бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?»

Вопрос скупщика краденого риторичен. Ясно, где истина в этом диалоге о живописи и морали. Аполек, кажется, единственный апостол в несущемся куда-то кровавом потоке жизни. Недаром, поми-

мо «наивных и живописных» портретов-икон, повествователь дарит ему (уже в новелле «У святого Валента») картину с проблеском гениальности. «В это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь… Фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение Бога из всех виденных мною в жизни».

Икона Аполека — это Спаситель, спасающийся от мира, в котором уже ничего нельзя изменить. Искусство бродячего художника — не католическое (хотя икона висит в костеле), точно так же как Интернационал Гедали — не иудаизм. Это просто христианство, евангелие улицы — Сократа, Сковороды, еще никому не известного проповедника из Иудеи.

Учеником Аполека мечтает быть — и оказывается — повествователь. «Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету».

АВТОР

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

С. Есенин

«Я» повествователя скрепляет фрагментарный эпос «Конармии». Он, конечно, не биографичен, хотя в новеллах несколько раз упоминается бабелевский конармейский псевдоним. «Положение Бабеля, штабиста из “начальственного” круга с собственным денщиком, с достаточной независимостью от рядовых бойцов и с определенным влиянием, не имеет ничего общего с положением “очкастого”, “паршивенького” Кирилла Лютова, чуждого казачьей массе и заискивающего перед ней» (В. Ковский).

Но и выдуманная биография, прописанный характер у центрального бабелевского героя тоже отсутствуют. Повествователь есть, но он легендарен, неуловим, безличен, как Гомер или Боян, струны которого «рокотаху славу» кентаврам XI века. («Гомера не было, но был другой старик, тоже слепой», — фантазировала А. Ахматова.) Биографию повествователю заменяет система знаковых деталей и реакций, причем подвижная и противоречивая. Он то русский, то еврей, то сотрудник газеты, то обозник с ординарцем, то растяпа и мечтатель, то вполне умелый и хваткий конармеец.

Объединяет эти лики, маски, перевоплощения, кажется, одна ключевая метонимическая деталь. «Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета…

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас не спросясь, а тут режут за очки» («Мой первый гусь»).

«Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…» («Смерть Долгушова»).

«Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами» («Вечер»).

«Конармия» — книга об очкастом киндербальзаме в стране краснокожих. Он — человек со стороны, наблюдатель, свидетель, пытающийся, как сказал поэт, «каплей литься с массами», но органически неспособный на это. Мировая мечта, слепящая глаза другим конармейцам и сочетающаяся с погромами, грабежом, легкостью отношения к чужой жизни и собственной смерти, кажется, не чужда и ему. Он все время пытается показаться своим, избавиться от «нравственных очков». Но максимум того, на что он способен, — свернуть шею гусю (пародийная инициация, после которой казаки проникаются к нему уважением, но которая им самим воспринимается как настоящее убийство) или пугать револьвером старух. Он не может выстрелить в умирающего и идет в «незабываемую атаку при Чесниках» с незаряженным оружием: «Поляк меня да… а я поляка нет…»

Повествователь будто забрел в Конармию откуда-то из XIX века. Он родственник толстовского Пьера (тоже очкастого) или

гаршинских героев, которые шли на войну «пострадать вместе с народом», подставлять под пули свою грудь, а не дырявить чужие.

Но это парадоксальное положение — рядом, но не вместе — помогает герою понять и кротость Сашки, и исступление Акинфиева, и мысли хасидов, и евангелие Аполека.

Бабелевский герой раздваивается по более важному признаку, чем русский — еврей или корреспондент — штабист. Он — тоже кентавр: участник конармейского похода и в то же время эпический созерцатель и живописец его. Позиция вненаходимости необходима и благотворна для художника.

В сказовых новеллах книги нет воздуха. Наука ненависти ослепляет героев. Мир в их глазах превращается в черно-белое пустое пространство, которое надо всего-навсего преодолеть. «Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море…» («Письмо»). «Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись» («Конкин»).

Италия для мечтающего об убийстве короля Сидорова — это солнце да бананы. Настоящий итальянский пейзаж видит в той же новелле «Солнце Италии» повествователь — в разгромленном городке на Збруче.

«Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электромеханик держит палец на выключателе луны».

Подлинный романтик — не скучный идеологический убийца Сидоров, а он, повествователь, способный так увидеть пейзаж после битвы.

Оперное сравнение в «Солнце Италии» не случайно. В рассказе «Пробуждение» Бабель вспоминал упрек своего одесского знакомого, критика его первых рассказов: «Твои пейзажи похожи на описание декораций». Пышность, живописность, ослепительность, декорационность бабелевских пейзажей тем не менее осталась и в «Конармии». Эпические бабелевские персонажи органичны именно на такой сцене, которой они, впрочем, не замечают. Искусство видеть мир принадлежит повествователю.

«Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?» — задан риторический вопрос в раннем очерке «Одесса» (1916). «Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем», — предсказано там же.

И вот он появился через десятилетие, чтобы видеть солнце — в самые неподходящие для этого дни гражданских распрей и кровавых походов.

«Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг… Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей» («Путь в Броды»). «Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны… Солнце в это мгновение вышло из-за туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег,

беспечные качанья ее куцего хвоста» («Эскадронный Трунов»). «Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч… В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо» («Поцелуй»).

Так же оригинальны, ярко-живописны, как будто подсвеченные театральными софитами, дерзки, как внезапный выстрел, бабелевские закаты и ночи, луны, звезды, просто подробности внешнего мира.

«Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу героическому закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов» («Путь в Броды»).

«Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенились над горизонтом» («Иваны»).

Юрий Олеша, автор «Зависти», которого Бабель в позднем интервью называл своим земляком, писателем «одесской, южнорусской школы», «на старости лет… открыл лавку метафор». В этой воображаемой лавке — и не только среди земляков — Бабель должен был бы присутствовать на самых видных местах. Товар в «Конармии» исчисляется сотнями штук. Метафоры (точнее говоря — тропы: сравнения, гиперболы и пр.) вспыхивают в любой точке текста, не просто освещая сюжетное пространство, но приобретая самостоятельную ценность.

Мир придавленных страданием, ослепленных ненавистью людей бесцветен. Мир Божий, даже искореженный войной, — удиви-

телен, потрясающ. Кровь, моча, слезы не отменяют, а, напротив, заставляют с большей остротой ощущать поэзию и красоту.

Из «критического романса» о Бабеле Виктора Шкловского (1924), в целом весьма проницательного, самым известным сделался афоризм: «Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звездах и о триппере». Критик односторонен, неточен. В «Конармии», помимо прочего, удивляет как раз диапазон интонаций, архитектоническая структура книги. Ровный тон разговора об ужасном, так поражавший современников (кое-кто видел в этом нарочитый эстетизм), сочетается со стилем рапорта или протокола, комическим сказом, высокой риторикой, экзальтированной лирикой «стихотворения в прозе».

«Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова. Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона» («Комбриг два»).

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательных женщин, которые нам вредные. Надеюсь на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило» («Соль»).

«...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком? ...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном...» («Сын рабби»).

Фрагментарный эпос «Конармии» оказывается на перекрестке стилистических экспериментов 1920-х годов: от словесных метелей Пильняка до нагой простоты Добычина, от бытового сказа Зощенко до философической неправильности Платонова.

Книга начинается и заканчивается дорогой. В «Переходе через Збруч» экспонированы почти все ее существенные мотивы. Три последние новеллы — замок: здесь ставятся фабульные точки и выводятся итоговые формулы-афоризмы.

«После боя» строится на распре с Акинфиевым, который никак не может понять «тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает». Финальная формула подчеркивает — от обратного — главное свойство очкастого киндербальзама, его парадоксальный пацифизм, иррациональное «молоканство». «Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека».

В «Песне» Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос, напевает кубанскую песню, напоминающую то ли старый романс, то ли нового Есенина. «Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука…» Простая мелодия преображает людей: повествователь перестает пугать старуху хозяйку револьвером и пытается заснуть с хорошими мыслями, сама старуха вспоминает, что она женщина, мечтающая о своем кусочке случайного счастья. «Песни нужны нам, никто не видит конца

войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть…»

В «Сыне рабби» впервые в мире Конармии повествователь обнаруживает своего двойника. В «Моем первом гусе» упоминался рассыпавшийся сундучок повествователя с рукописями и дырявыми обносками. В последней новелле возникает сюжетная рифма: уже он сам собирает «рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского», выпавшие из сундучка умирающего. «Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений Шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы “Песни песней” и револьверные патроны». Сыну рабби удается то, что никак не удавалось повествователю: соединить русское и еврейское, литературу и революцию, прядь женских волос и партийные постановления. Может, потому он и умирает?!

«Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерии и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата».

Брат — последнее слово новеллы, цикла, книги. Ему иногда пытаются придать конфессиональный смысл, обнаруживая «родство» повествователя с еврейством или «причастность» его к хасидским мудрецам. Но дело в том, что в структуре книги, строящейся

по законам «тесноты и единства стихового ряда», этот эпизод и это определение рифмуется с другим.

В «Иванах», новелле о неузнанных русских двойниках, пацифисте дьяконе и его мучителе Акинфиеве, после уже цитированной натуралистической сцены с трупом поляка, залитым мочой, следует смысловой удар, очередная бабелевская формула. «Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла».

Братом для повествователя оказывается не только сын рабби красноармеец Брацлавский, но и неведомый убитый враг (в польском происхождении повествователя его еще никто не подозревал). Точно так же друзьями он называет кроткого Сашку Христа, неистового любителя лошадей Савицкого, бесшабашного Афоньку Биду.

Не Бабелем было сказано: все же вы — братья (Мф. 23,8). Но он толкует, в сущности, о том же. Бурное воображение повествователя пытается создать в мире «Конармии» «Интернационал добрых людей». Беда в том, что добрые люди, как говорит булгаковский Иешуа, не подозревают о своей доброте и братстве. «Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают... — Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью...»

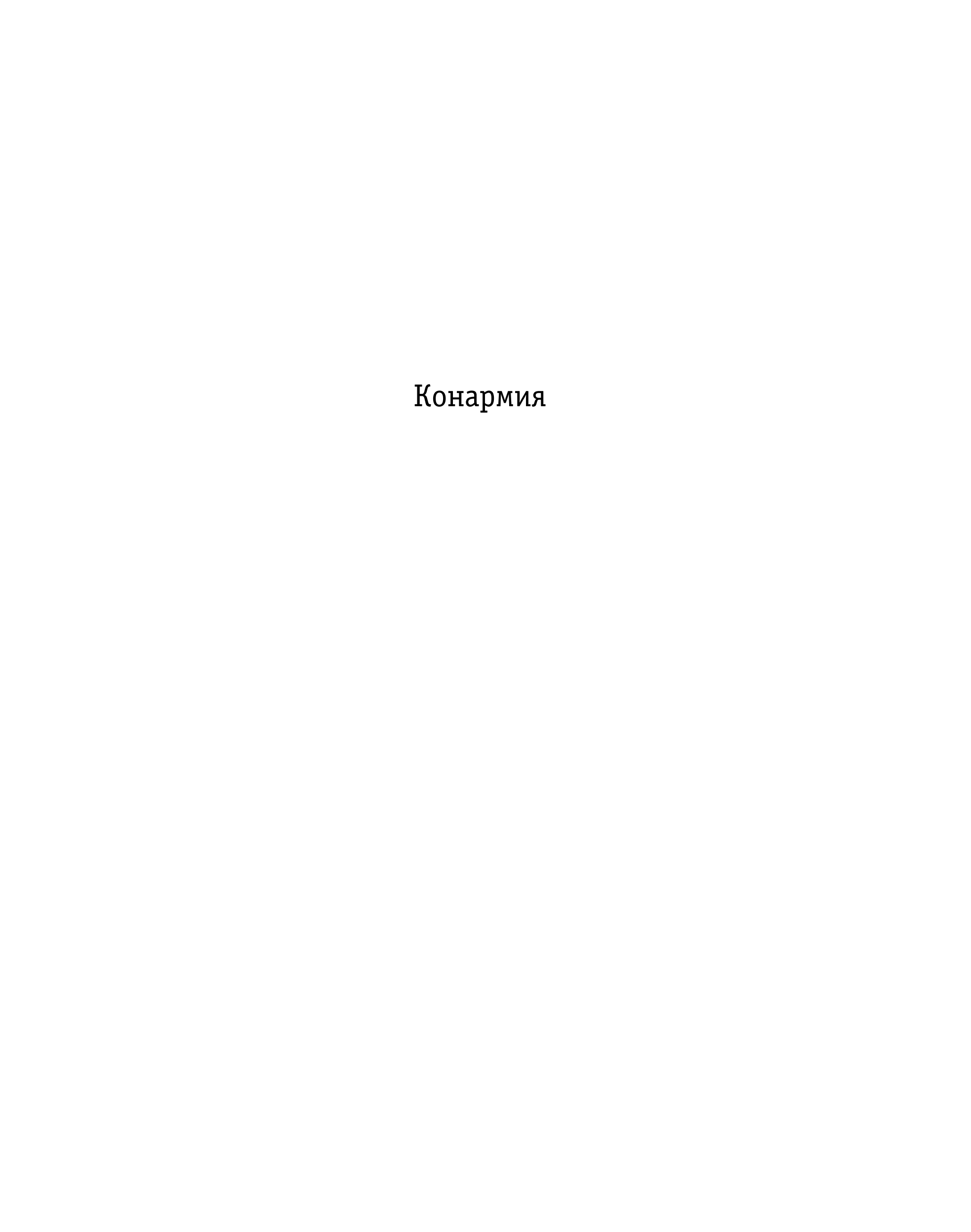
Вот и еще один добрый человек, не подозревая, как над ним будут смеяться через много лет, написал (или подписал чужую) рецензию. «Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она ему была чуждой, противной, но зато он видит со страстью больного садиста трясущиеся груди выдуманной им ка-

зачки, голые ляжки и т. д. Он смотрит на мир, “как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы”. Да, с таким воображением ничего другого, кроме клеветы на Конармию, — не напишешь».

Буденный, возможно, и был хорошим полководцем (что сомнительно), но, несомненно, — плохим, пристрастным, злобным читателем. Даже через много лет, в воспоминаниях, он доругивал убитого автора «Конармии», но кажется, так и не раскрыл книгу.

«Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Игорь Сухих



Конармия

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, по неувядаемому шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит уже, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные

шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.

— Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут мне распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается тотчас над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть, — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пане, — говорит она мне, — вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо раз-

рублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

— Пане, — говорит еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было удобнее, — он кончался в этой комнате и думал обо мне. И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

Новоград-Волынск, июль 1920 г.

КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.

Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, неверный монах, в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в

храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пильсудскому.

Нищие орды катятся на твои древние города, о, Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайн. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О, глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

«Прочь, — сказал я себе, — прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами»...

ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама, Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа,

я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь, от бела лица до сырой земли...» (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

«Любезная мама, Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия Цик, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама, Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам писать также, что здеся

страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только в скорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание итти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолеп-

ный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич

в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ товарища Троцкого не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, и также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная

мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит»...

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученьи, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как и всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты коровьего блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном своем англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам, игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей.

— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, — это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется...

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный

и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко, — а ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

Белев, июль 1920 г.

ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный про-

стодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

—

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день

краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску благовонной зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили прокопченные стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все

это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещеного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы Священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких

пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику:

— Санта Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, — сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна.

Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия — война безжалостная, как страсть иезуита. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых, — так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой,

деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о, превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель-Роббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю… — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас…

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану, — шепчет Аполек и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода…

— О, тен чло́век! — кричит в отчаянии пан Робацкий. — Тен чло́век не умрет на своей постели… Тего чловека забиют людове…

— После ужина, — упавшим голосом шелестит Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно…

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и

темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, — то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, ког-

да она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец...

— Где же он? — вскричал я.

— Его скрыли попы, — произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

— Пан художник, — вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, — цо вы мувите? То же есть немыслимо...

— Так, так, — съежился Аполек и схватил Готфрида, — так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск, — прошептал он, мигая глазами, — с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно...

И он исчез со слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво! — произнес тогда Робацкий, костельный служка. — Тен чло́век не умрет на своей постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу у обрыва бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну. Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо кому, и воображение, — слепая, счастливая баба, — клубилось впереди июльским туманом.

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Неясный хмель спал с меня. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

«...Пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...

Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его,

поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы длинную змею мужицкой своей усмешки. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цеха, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости — черт с ними...

А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.

Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери...

Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, — значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория, — пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.

В Цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: “романтик”. Скажите просто, — он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...

Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория...

Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...»

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась

догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

ГЕДАЛИ

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко

рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний!

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов,

помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — Да, кричу я революции, да, кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — Я люблю музыку, пани, — отвечаю я революции. «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — револю-

ция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу... Пане товарищ, — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, — привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотным, одиноким, мечтательным, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Заходит суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапчонкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным

ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...Каковое уничтожение, — стал писать начдив и измазал весь лист, — возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронтах не первый месяц, не можете сомневаться...»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

— Сказывай! — крикнул он и рассек воздух хлыстом.

Потом он прочитал о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тута у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил, полный отчаяния, и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиноче-

ством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами...

И отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

РАББИ

— ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке яростных ветров истории.

Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли

из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы, — ответил я.

— Благочестивый город, — сказал вдруг рабби с необыкновенной силой, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки. — Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ, — сказал цадик и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он ра-

дуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. — Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын равви Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь, — раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, — благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде 1-й Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

ПУТЬ В БРОДЫ

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили неописуемые ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчелы. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получи-

ли с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала нетороплливых болей. Поэтому я заставил непоколебимые уста Афоньки наклониться к моим печалям.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах, — ответил взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицах, — скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить. И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!..» — «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. — Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. — Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился

пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу героическому закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О, Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

Броды, август 1920 г.

УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет. История его ужасна.

Пять лет пробыл Грищук в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парией среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера к ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — конь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков задушенный нами Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я

в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона... «Во славу Иисуса и его божественной матери...»

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая

надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выиски-

вая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряжку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.

— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы...

— Отобьетесь... — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.

— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось не оставлю, — и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать...

— Шагом, — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в несказанном изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство, — ответил он печально.

— Пропадаем, — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудаются, — ответил он еще печальнее. — Зачем сватання, венчання, зачем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне, — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге, — смеха мне, зачем бабы трудаются...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь... Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов строго.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет, — ответил я глухо и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...

— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Беги, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Грищук, — не дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька. — Он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста.

Я принял милостыню от Грищука и съел его яблоко.

Броды, август 1920 г.

КОМБРИГ 2

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига 2. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг — на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидали ее одну — узкую спину

Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный.

И в это мгновение нервный польский снаряд стал чертить над нами свой завывающий полет.

— Идут рысью, — сказал наблюдатель.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза. «Ура», еле слышное, удалялось от нас, как нежная песнь.

— Идут карьером, — сказал наблюдатель, пошевелив ветвями. Буденный курил, не открывая глаз.

Канонада пылила, разрасталась, сияла молниями, заволакивала своды, ковала их ударами и громом.

— Бригада атакует неприятеля, — пропел наблюдатель там вверху.

«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце, и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

Броды, август 1920 г.

САШКА ХРИСТОС

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было.

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами

и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч. — Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу, ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой… Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой, — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней и набаловался, сколько мог. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам…

И, сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.

— Вот, деточка, глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка, — все святители из пастухов вышли.

— Сашка-святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.

Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать...

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей...

— Ушли дети со двора, — сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. — Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел полу-

чить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал, — и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга...

— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка, — выдь во двор.

И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые, и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись...

— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи...

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель Сашка, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга... я порубаю тебя, святитель...

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи...

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на

весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в 1-й Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с 10-й армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ, МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА

Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, — уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно; нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила...

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись, — говорит, — Матвей, к Насте.

— Зачем, — говорю. — Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись, — говорит, — она желает.

И вот являюсь.

— Настя! — говорю и всей моей кровью чернею. — Настя, — говорю, — или вы надо мной надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слышать, а пускается от меня бегом и бежит из последних сил, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, — вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне...

И я отвечаю ей:

— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно, небось, молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю...

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму, — заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь...

И поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг

с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин...

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю чистосердечно...

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному воля, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в сам-деле, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует...

— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца, и сына, и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, — где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину, и возвожу к нему простые мои глаза, и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, — отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость...

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, родные мои братья, ведь пять годов барин на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок... Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем

ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно, — говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?

— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился; судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина...

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенке, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...» Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо...

А он мне: нет!

— Нет, — говорит, — Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе, сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры все равно забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?

— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет.

И опять мы с ним по комнатам пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в Прикумское твое логово...

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — Я с тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали... Стреляй в меня, сукин сын...

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там, в зале, Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресла бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...

КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изо-

бражение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них витиеватой молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анании, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О, смерть, о, корыстолюбец, о, жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?»

ПРИЩЕПА

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе. Мне не забыть его рассказа.

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, и кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, и иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Отбитую мебель он расставил в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», — и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках, и только Хлебников, израненный

истиной и ведомый местью, шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе, господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще

руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.

«Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь

коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно розолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь...»

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но недоглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико и влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю, — бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

Радзивиллов, июль 1920 г.

КОНКИН

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкамаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, уже к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку

рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика... Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, — ведь это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только — нас двое, а их восемь...

— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю... Помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

«Ладно, думаю, будешь моя, раскинешь ноги».

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я

эту лошадку. Рухнула она как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, думаю, он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком...»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу. — Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не моге, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан...

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге, — говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю…

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан, — кричу я, и плачу, и зубами скрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар, — говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист, — говорю я.

— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?

— Коммунист, — говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту, — и здоровается со мной за руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и посейчас подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

БЕРЕСТЕЧКО

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку, как приклеенная.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под

звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина, взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане — кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне. Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зе-

ленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно

поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:

«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été faciles, notre petit héros achève sept semaines…»*

А внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома…

* «Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель…» (*фр.*)

СОЛЬ

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой, — в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке.

Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосле нас она и мужа не захочет...

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в

вагон, и она с благодарностью лезет. И кажный, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времен, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступилися ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у ней с рук дите, и рву с него пеленки и тряпье, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продаст. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын Тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог,

и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащут нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

ВЕЧЕР

О, устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников

«Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства... Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая

заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза. Так смотрит на профессора, преданного науке, девушка, жаждущая неудобств зачатия.

И рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий, мордатый победитель. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая:

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... А против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено

терпеть вас, слюнтяев... Вся партия ходит в передниках, измазанных кровью и калом, мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку...

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек, — прошептала баба тесным, замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут...

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин. — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой...

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом, кровь текла из разодранных ладоней.

Ковель, 1920 г.

АФОНЬКА БИДА

Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — безжалостные укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок слонялось белесое босое волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, — эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он

передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли наизготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак*, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое

---

* Масляков — командир 1-й бригады 4-й дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре Советской власти.

с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. — Пошла блох ловить, пешка…

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались,

как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, эта неповторимая, высеченная пешка, возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви суетливо кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядываясь и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновенье пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блистающий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда поде-

ваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица, — ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал, не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части...

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом

была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного, Орлов, и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня — где его найдешь?

— Конь — он друг, — ответил Орлов.

— Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня...

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал

деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски отчаянного и воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.

— Почтение, — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный, — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него. Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Биценко.

У СВЯТОГО ВАЛЕНТА

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жите-

ли хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорствующие реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Bérestechka.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, и храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные,

то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след их звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные, стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья.

Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащее еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Вначале я не заметил следов разрушения в храме или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с

отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом, с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый жиденок с клочковатой бородкой и низким, сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебряными гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

Берестечко, август 1920 г.

ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами,

язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученьи.

— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачов, командир полка, и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джиги-

туя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачов рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я стоял в задних рядах, я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и непобедимом галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гусятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов...

— Илия! — кричали они, извиваясь, и разевали заросшие рты.

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью

и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, потому что мне не понять было, какой он человек и какова жизнь его здесь, в Сокале, но тут меня остановил казак, державший наготове некованную лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными

нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Завады. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — вси офицер утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой, — цими пятью пальцами я выховал мою семейству...

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду... На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору, — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришепетывая, — впору... — и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю, — Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, — республика наша Советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей...

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился. — Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал их в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с гордой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того, чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать, — ответил я, содрогаясь. — Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет, Павел...

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упре-

ком: — Гуди, гуди, — сказал он, — эвон еще и другой гудит…

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесение Пугачову от меня…

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному…»

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые…

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята... — и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет. — Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Иисуса, — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господа Иисуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэропланы второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на желтый блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посредине города.

ИВАНЫ

Дьякон Аггеев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить...

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, подивился упорству дьякона.

— Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченке, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание...

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении...

— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже, — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь...

— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггеев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальских под расписку. Сейчас трогают...

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву. — Пересадить надо дьякона.

— Куды его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. — Ваня наш везде достанет...

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг, — ответил Барсуцкий, — ты ведь зверь, пересадить надо дьякона...

— Поинтересуюсь узнать, — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами, — поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков, — прокричал Коротков, кучер с первой телеги, — ох, стоит...

— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. — Все мы стоим. Только дела надо делать форменно...

— А ведь он слышит, глухарь-то наш, — перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван...

— Ответить я согласен, — задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову. — Сидай удобне́й, — сказал он дьякону, не оборачиваясь, — еще удобне́й сидай, — повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжой. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, они ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они

выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня, Лаврика, утешение мое на земле. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползали из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Она выливалась у него изо рта, брызгала между зубов и стояла в пустых глазницах. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я. — Кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили, — сказал я громко, — Лавриком коня звали...

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу, — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. — Снедать будем, что ли?

— Парень, — закричал я, опоминаясь, — чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо мною третьи сутки...

И тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона с начала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и роздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня, — сказал он Аггееву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают...

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от Акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел ее на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь. Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен...

— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И смерть присуждает очень просто...

— Или того лучше, — произнес Аггеев и выпрямился, — убей меня, Иван...

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. — Ты понимай, с каким че-

ловеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу...

— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая...

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань...

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая и четвертая. Евреи в жилетках, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый

мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно...

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне...

— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?

— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.

— Вы глухи, Аггеев, или нет?

— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят...

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между возами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табаку, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и роздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам...

— Прощай, — ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам, надругаюсь...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

Хлебников — Савицкому

«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу

их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящая масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — "Даешь мировую революцию!" — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении...»

Савицкий — Хлебникову

«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственною шкурою и выступил из Коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицко-

го, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».

Галиция, сентябрь 1920 г.

ВДОВА

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой.

«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

...А он:

«Какой вы, — говорит, — есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...»

...Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы, — говорю, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь... — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото, какое есть, — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую — все ей. Жили, как умели... вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка...» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня, — бормочет Левка и взмахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала, чего говорит?.. При ём сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ём говори…

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.

— Вот холуйское знатьё, — ответил Шевелев. — Пулеметами вскрывает нас на правом фланге…

И, закрыв глаза, торжественный, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо.

Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал…

Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Сашка встала, принялась менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка, обеспамятевший холуй, полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки их заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик, — сказала она. — Иисус Христос мой, — и легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается, — сказал тогда Левка, — ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко...

И он проехал дальше, в Буск, где расположился штаб 6-й кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники... — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке... — услышали мы Левкины бессвязные

крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Он скоро вернулся к нам, Левка, холуй начдива, и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним...

Галиция, август 1920 г.

ЗАМОСТЬЕ

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Все звезды были затушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке.

Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

«Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего...»

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки

медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По моему лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется! — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомню, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая, — тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Вы женаты, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

Сокаль, сентябрь 1920 г.

ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную

кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N...ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупаетесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался уз-

нать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания, пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились, как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть, и на горизонте полно туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового

барабана, и заместо всего разговора получилось у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки. Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и

щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только, отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, т. е. без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но, только зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете

советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, т. е. оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела и острог постылых ребер...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

ЧЕСНИКИ

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву

подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада, — ответил Павличенко глухо, — согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой!..

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему. — Ведь у тебя ребер нету...

— Положил я на эти ребра... — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком. — Дай послухать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:

— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью. — В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою... — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое омерзительное его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на

длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай, — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка, — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?

— Отваливай, — ответил Степка, — своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь —

она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, говорит, Степа, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году...»

— Вас, небось, по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому, небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь...

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, — дай, думаю, хороших кровей добуду...

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловав свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч...

— Бежит не бежит, — закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон...

— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

ПОСЛЕ БОЯ

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три

версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в карре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на его груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но карре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начподив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов, — крикнул он, завидев меня, — завороти мне бойцов, душа из тебя вон!..

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов, — сказал я, — завороти коня...

— Кобылячий хвост завороти, — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти, — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед, — повторил он чуть слышно, — моя за тобой следом... — легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. — Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с нами, Саш...

— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду...

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь. — Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. — Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир...

— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору...

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. — Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?..

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет... — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. — Где тому причина?..

— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет...

— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством, — ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.

Галиция, сентябрь 1920 г.

ПЕСНЯ

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он ото всех отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

Я люблю эту песню, в любви к ней я доходил до возвышенного сердечного восторга. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона, у станицы Кагальницкой.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, — это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням; из них многие были душевного, старинного распева. За это мы всё простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не

видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть…

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

«Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука…»

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил… Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я женщина…

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати,

засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам внимание окажу...

Но бабка как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи; мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним впору, да вот такая я тошная стала, что и греху не обрадуюсь...

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.

СЫН РАББИ

...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего

цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торами безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. И чудовищная Россия, неправдоподобная, как стадо платяных вшей, затопала лаптями по обе стороны вагонов. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так то-

мительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, нежную, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль с моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод, — прошептал он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.

Дополнения к «Конармии»

АРГАМАК

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до

штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при 15-й пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жестокой, враскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль, — ответил он, не оборачиваясь, — это твоя печаль…

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит... Боевитый ездок, дебелый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот. Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опроки-

нувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

— Ты что бойцов маринуешь, — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно, надо, если мариную...

— Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко

и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так, — произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.

— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..

— Еще пасхи нет, чтобы мириться, — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка, как вкопанный, стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов...

— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием. — Это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

ПОЦЕЛУЙ

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете; я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком; серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то

просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский лукавый казак, доложил мне обстановку: кроме парализованного старика, в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладим, — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня Советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье. — Ты поближе к нам лягай, мы люди живые.

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает...

И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю

ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям...

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера. Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали изо рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыль-

ный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову; пальцы ее оттолкнулись от стены; путаясь и ускоряя шаги, она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу: упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет, — сказала она, вглядываясь в меня, — нет, дорогой мой, — и, обхватив мое лицо голыми, длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем.

Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем, — сказал он в телефон, — приказание явиться к командиру бригады...

Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблином и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь, — повторял он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во

мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку...

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Толщенской церкви, я и не подумал о том, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали, — сказал он весело, — а то съездили бы...

— Нельзя, — ответил я, — хватятся ночью...

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронеслось

по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым, беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских... Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев.

— Когда вы увезете нас? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Промолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком.

— Главное, что время нет, — загородил мне дорогу Суровцев, — сидайте, поедем...

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть… Рано вспугнул…

— И то не рано, — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви, — кабы не старик, я и раньше бы вспугнул… А то разговорился, старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал… Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся…

Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.

ГРИЩУК

Вторая поездка в местечко окончилась худо. Мы отправились добывать фуражу, возвращались к полудню. Спина Грищука мирно тряслась перед моими глазами. Не доезжая до села, он аккуратно сложил вожжи, вздохнул и стал сползать

с сиденья. Он сполз ко мне на колени и вытянулся поперек брички. Его стынущая голова покачивалась, лошади шли шагом, и желтеющая ткань покоя оседала на лице Грищука, как саван.

— Не емши, — вежливо ответил он на мой испуганный крик и утомленно опустил веки.

Так мы и въехали в село, с кучером, растянувшимся во всю длину экипажа.

Дома я накормил его хлебом и картошкой. Он ел вяло, задремывал и раскачивался. Потом вышел на середину двора и, разбросав руки, лег на землю — лицом кверху.

— Ты все молчишь, Грищук, — сказал я ему, задыхаясь, — как я пойму тебя, томительный Грищук?..

Он смолчал и отвернулся. И только ночью, когда мы, согревая друг друга, лежали на сене, я узнал одну главу из его немой повести.

Русские пленные работали по укреплению сооружений на берегу Северного моря. На время полевых работ их угнали в глубь Германии. Грищука взял к себе одинокий и умалишенный фермер. Безумие его состояло в том, что он молчал. Побоями и голодовкой он выучил Грищука объясняться с ним знаками. Четыре года они молчали и жили мирно. Грищук не выучился языку потому, что не слышал его. После германс[кой] революции он пошел в Россию. Хозяин проводил его до края деревни. У большой дороги они остановились. Немец показал на церковь, на свое сердце, на безграничную и пустую синеву горизонта. Он прислонился своей седой взъерошенной безумной головой к плечу Грищука.

Они постояли так в безмолвном объятии. И потом немец, взмахнув руками, быстрым, немощным и путаным шагом побежал назад, к себе.

ИХ БЫЛО ДЕВЯТЬ

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Когда Голов, взводный командир из сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба: «Пример взводного развращает бойцов. Надо составить сопроводительную записку на пленных и отправить их в штаб для опроса».

Начальник штаба разрешил. Я вынул из сумки карандаш и бумагу и вызвал Голова.

— Ты через очки смотришь на свет, — сказал он, глядя на меня с ненавистью.

— Через очки, — ответил я, — а ты как смотришь на свет, Голов?

— Я смотрю через несчастную нашу рабочую жизнь, — сказал он и отошел к пленному, держа в руках польский мундир с болтающимися рукавами. Мундир не пришелся по мерке. Рукава едва достигали локтей. Тогда Голов прощупал пальцами егеревские кальсоны пленного.

— Ты офицер, — сказал Голов, закрываясь рукой от солнца.

— Нет, — услышали мы твердый ответ.

— Наш брат таких не носит, — пробормотал Голов и замолчал. Он молчал, вздрагивал, смотрел на пленного, глаза его белели и расширялись.

— Матка вязала, — сказал пленный с твердостью.

Я обернулся и взглянул на него. Это был юноша с тонкой талией. На желтых щеках его вились баки.

— Матка вязала, — повторил он и опустил глаза.

— Фабричная у тебя матка, — подхватил Андрюшка Бурак, румяный казачок с шелковыми волосами, тот самый, который стаскивал штаны с умирающего поляка. Штаны эти были переброшены через его седло. Смеясь, Андрюшка подъехал к Голову, осторожно снял у него с руки мундир, кинул к себе на седло поверх штанов и, легонько взмахнув плетью, отъехал от нас.

Солнце вылилось в это мгновение из-за туч. Оно ослепительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качания ее куцего хвоста. Голов с недоумением посмотрел вслед удалявшемуся казаку. Он обернулся и увидел меня, составлявшего пленным список. Потом он увидел юношу с вьющимися баками. Тот поднял на него спокойные глаза снисходительной юности и улыбнулся его растерянности. Тогда Голов сложил руки трубкой и крикнул: «Республика наша живая еще, Андрей. Рано дележку делать. Скидай барахло!»

Андрей и ухом не повел. Он ехал рысью, и лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена, — прошептал тогда Голов, произнося это слово по буквам, и стал жалок, и цепенел. Он опустился на колено, взял прицел и выстрелил, и промахнулся. Андрей немедля повернул коня и поскакал к взводному в упор.

Румяное и цветущее лицо его было сердито.

— Слышь, земляк, — закричал он звонко и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса, — как бы я не стукнул тебя, взводный, к такой-то свет матери. Тебе десяток шляхты прибрать — ты вон каку суету поднял. По сотне прибирали, тебя в подмогу не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, победоносно поглядев на нас, Андрюшка отъехал галопом. Взводный не поднял на него глаз. Он взялся рукой за лоб. Кровь лилась с него как дождь со скирды. Он лег на живот, пополз к ручью и надолго всунул в пересыхающую воду разбитую свою окровавленную голову...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сидя на коне, я составил им список, аккуратно разграфленный. В самой первой графе были номера по порядку, в другой — имя и фамилия и в третьей наименование части. Всего вышло девять номеров. И четвертым из них был Адольф Шульмейстер, лодзинский приказчик, еврей. Он притирался все время к моему коню и гладил мой сапог трепещущими нежащими пальцами. Нога его была перебита прикладом. От нее тянулся тонкий след, как от раненой охромевшей собаки, и на щербатой, оранжевой лысине Шульмейстера закипал сияющий на солнце пот.

— Вы Jude*, пане, — шептал он, судорожно лаская мое стремя. — Вы — Jude, — визжал он, брызгая слюной и корчась от радости.

---

* Еврей (*нем.*).

— Стать в ряды, Шульмейстер, — крикнул я еврею, и вдруг, охваченный смертоносной слабостью, я стал ползти с седла и сказал, задыхаясь: — Почем Вы знаете?

— Еврейский сладкий взгляд, — взвизгнул он, прыгая на одной ноге и волоча за собой собачий тонкий след, — сладкий взгляд Ваш, пане...

Я едва оторвался от предсмертной его суетливости. Я опоминался медленно, как после контузии.

Начальник штаба приказал мне распорядиться и уехал к частям.

Пулеметы втаскивали на пригорок, как телят, на веревках. Они двигались рядком, как дружное стадо, и успокоительно лязгали. Солнце заиграло на их пыльных дулах. И я увидел радугу на железе. Поляк, юноша с вьющимися баками, смотрел на них с деревенским любопытством. Он подался всем корпусом вперед и открыл мне Голова, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на отвес. Я протянул к Голову руки и крикнул, но звук задохся и разбух в моей гортани. Голов поспешно выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги. Удивленный поляк повернулся к нему, сделав полный круг, как на ученье. Медленным движением отдающейся женщины поднял он обе руки к затылку, рухнул на землю и умер мгновенно.

Улыбка облегчения и покоя заиграла тогда на лице Голова. К нему легко вернулся румянец.

— Нашему брату матка таких исподников не вяжет, — сказал он мне лукаво. — Вымарай одного, давай записку на восемь штук...

Я отдал ему записку и произнес с отчаянием:

— Ты за все ответишь, Голов.

— Я отвечу, — закричал он с невыразимым торжеством, — не тебе, очкастому, а своему брату, сормовскому. Свой брат разберет...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В Конармии некому это сделать, кроме меня. Отряд наш сделал привал в разрушенном фольварке. Я взял дневник и пошел в цветник, еще уцелевший. Там росли гиацинты и голубые розы.

Я стал записывать о взводном и девяти покойниках, но шум, знакомый шум прервал меня тотчас. Черкашин, штабной холуй, шел в поход против ульев. Митя, румяный орловец, следовал за ним с чадящим факелом в руках. Головы их были замотаны шинелями. Щелки их глаз горели. Мириады пчел отбивали победителей и умирали у ульев. И я отложил перо. Я ужаснулся множеству панихид, предстоявших мне.

Статьи из газеты «Красный кавалерист»

ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ТРУНОВЫХ!

В наши героические, кровавые и скорбные списки надо внести еще одно имя — незабвенное для 6 дивизии, — имя командира 34 кавполка Константина Трунова, убитого 3.VIII в бою под К. Еще одна могила спрячется в тени густых Волынских лесов, еще одна известная жизнь, полная самоотвержения и верности долгу, отдана за дело угнетенных, еще одно пролетарское сердце разбилось для того, чтобы своей горячей кровью окрасить красные знамена революции. История последних лет жизни тов. Трунова связана неразрывно с титанической борьбой Красной Армии. Чаша им испита до дна — проделаны все походы от Царицына до Воронежа, от Воронежа до берегов Черного моря. В прошлом — голод, лишения, раны, непосильная борьба рядом с первыми и в первых рядах и, наконец, офицерская панская пуля, сразившая ставропольского крестьянина из далеких степей, принесшего чуждым ему людям весть об освобождении.

С первых дней революции т. Трунов, ни минуту не колеблясь, занял свое настоящее место. Мы находили его в числе организаторов первых отрядов ставропольских войск. В регулярной Красной Армии он последовательно занимал должности командира 4 Ставропольского полка, командира 1-й бригады 32-й дивизии, командира 34-го кавполка 6-й дивизии.

Память о нем не заглохнет в наших боевых рядах. В самых тяжелых условиях он вырывал победу у врага своим исключительным беззаветным мужеством, непреклонной настойчивостью, никогда не изменявшим ему хладнокровием, огромным влиянием на родную ему красноармейскую массу. Побольше нам Труновых — тогда крышка панам всего мира.

РЫЦАРИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Польская армия обезумела. Смертельно укушенные паны, издыхая, мечутся в предсмертной агонии, нагромождая преступление на глупость, погибают, бесславно сходя в могилу под проклятия и своих и чужих. Чувствуя, что и прежде, — они идут напролом, не заботясь о будущем, основательно забыв, что, по мысли антантовских гувернанток, они, рыцари европейской культуры, являются стражами «порядка и законности», барьером против большевистского варварства.

Вот как охраняет цивилизацию польский барьер.

Жил-был в Берестечке скромный труженик-аптекарь, организовавший насущно нужное дело: работавший не покладая рук, занятый своими больными, пробирками да рецептами, — и никакого отношения к политике не имел и, может быть, и сам думал, что у большевиков уши над глазами растут.

Аптекарь этот еврей. Для поляка все ясно — скотина безответная, пали почем зря — режь, насилуй, истязай. Демонстрация была приготовлена вмиг. Мирного аптекаря, благополучно нажившего геморрой у своих бутылочек, обвинили в том, что он где-то когда-то зачем-то убил польского офицера и выходит он поэтому пособником большевиков.

То, что последовало за этим, отнесет нас к самым удушливым векам испанской инквизиции. Если бы я не видел собственными глазами это истерзанное лицо, это раздробленное исковерканное тело — никогда бы не поверил в то, что в наше, хотя бы жестокое, хотя бы кровавое время возможно на земле такое неожиданное злодейство. Аптекарю прижигали тело калеными железными палками, выжгли лампасы (ты, мол, заодно с казаками-большевиками!), загоняли под ногти раскаленные иголки, вырезали на груди красноармейскую звезду, выдергивали по одному волосу с головы.

Все это делалось не спеша, сопровождалось шуточками на счет коммунизма и жидовских комиссаров.

Это не все — и озверевшими панами была до основания разгромлена аптека, все лекарства растоптаны, не оставили нетронутыми ни одного пакетика, и вот — местечко погибает без медицинской помощи. Вы не найдете в Берестечке порошка против зубной боли. Двадцатитысячное население отдано на съедение эпидемиям и болезням.

Так погибает шляхта. Так издыхает злобный бешеный пес. Добейте его, красные бойцы, добейте его во что бы то ни стало, добейте его сейчас, сегодня! Не теряя ни минуты.

НЕДОБИТЫЕ УБИЙЦЫ

Они истязали рабочих в 1905 году. Они шли в карательные отряды для того, чтобы расстреливать и душить наши рабские темные деревни, над которыми пронеслось недолгое дыхание свободы.

В октябре 1917 года они сбросили маску и огнем и мечом пошли против российского пролетариата. Почти три года терзали они и без того истерзанную страну. Казалось, что с ними покончено. Мы предоставили им умереть естественной смертью, а они умереть не захотели.

Теперь мы платимся за ошибки. Сиятельный Врангель пыжится в Крыму, жалкие остатки черносотенных русских деникинских банд объявились в рядах культурнейших польских ясновельможных войск. Эта недорезанная шваль пришла помочь графам Потоцким и Таращицким спасти от варваров культуру и законность. Вот как была спасена культура в м. Комаров, занятом 28 августа частями 6 кавдивизии.

Накануне в местечке ночевали молодцы есаула Яковлева, того самого, который звал нас к сладкой и мирной жизни в родных станицах, усеянных трупами комиссаров, жидов и красноармейцев.

При приближении наших эскадронов эти рыцари рассеялись как дым. Они успели, однако, исполнить свое дело...

Мы застали еврейское население местечка ограбленным дочиста, зарубленным, израненным.

Бойцы наши, видавшие виды, отрубившие не одну голову, отступали в ужасе перед картиной, представшей их глазам.

В жалких, разбитых до основания лачугах валялись в лужах крови голые семидесятилетние старики с разрубленными черепами, часто еще живые крошечные дети с обрубленными пальцами, изнасилованные старухи с распоротыми животами, скрючившиеся в углу, с лицами, на которых застыло дикое невыносимое отчаяние. Рядом с мертвыми копошились живые, толкались об израненные трупы, мочили руки и лицо в липкой зловонной крови, боясь выползти из домов, думая, что не все еще кончено.

По улицам омертвевшего местечка бродили какие-то приниженные напуганные тени, вздрагивающие от человеческого голоса, начинающие вопить о пощаде при каждом окрике. Мы натыкались на квартиры, объятые страшной тишиной — рядом со стариком дедом валялось все его семейство.

Отец, внуки, все в изломанных, нечеловеческих позах.

Всего убиты свыше 30, ранены около 60 человек. Изнасиловано 200 женщин, из них много замучено. Спасаясь от насильников, женщины прыгали со 2-го, 3-го этажей, ломая себе руки, головы.

Наши медицинские силы работали весь день не покладая рук и не могли хотя бы в полной мере удовлетворить потребность в помощи. Ужасы средневековые меркнут перед зверствами яковлевских бандитов. Погром, конечно, был произведен по всем правилам. Офицеры потребовали сначала у еврейского населения плату за безопасность — 50 тысяч рублей. Деньги и водка были внесены немедленно, тем не менее, офицеры шли в первых рядах погромщиков и усиленно

искали у напуганных насмерть евреев-стариков бомбы и пулеметы.

Вот наш ответ на вопли польского Красного Креста о русских зверствах. Вот факт из тысячи фактов более ужасных.

Недорезанные собаки испустили свой хриплый лай. Недобитые убийцы вылезли из гробов. Добейте их, бойцы Конармии! Заколотите крепче приподнявшиеся крышки их смердящих могил!

ЕЕ ДЕНЬ

Я заболел горлом. Пошел к сестре первого штабного эскадрона Н-дивизии. Дымная изба, полная чаду и вони. Бойцы развалились на лавках, курят, почесываются и сквернословят. В уголку приютилась сестра. Одного за другим, без шума и лишней суеты она перевязывает раненых. Несколько озорников мешают ей всячески. Все изощряются в самой неестественной, кощунственной брани. В это время — тревога. Приказ по коням. Эскадрон выстроился. Выступаем.

Сестра сама взнуздала своего коня, завязала мешочек с овсом, собрала свою сумочку и поехала. Ее жалкое холодное платьице треплется по ветру, сквозь дыры худых башмаков виднеются иззябшие красные пальцы. Идет дождь. Изнемогающие лошади едва вытаскивают копыта из этой страшной, засасывающей, липкой волынской грязи. Сырость пронизывает до костей. У сестры — ни плаща, ни шинели. Рядом загремела похабная песня. Сестра тихонько замурлы-

кала свою песню — о смерти за революцию, о лучшей нашей будущей доле. Несколько человек потянулось за ней, и полилась в дождливые осенние сумерки наша песня, наш неумолкающий призыв к воле.

А вечером — атака. С мягким зловещим шумом лопаются снаряды, пулеметы строчат все быстрее, с лихорадочной тревогой.

Под самым ужасным обстрелом сестра с презрительным хладнокровием перевязывала раненых, тащила их на своих плечах из боя.

Атака кончилась. Опять томительный переход. Ночь, дождь. Бойцы сумрачно молчат, и только слышен горячий шепот сестры, утешающей раненых. Через час — обычная картина — грязная, темная изба, в которой разместился взвод, и в углу при жалком огарке сестра все перевязывает, перевязывает, перевязывает...

Брань густо висит в воздухе. Сестра, не выдержав, огрызнется, тогда над ней долго хохочут. Никто не поможет, никто не подстелит соломы на ночь, не приладит подушки.

Вот они, наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами! Бойцы и командиры, уважайте сестер. Надо, наконец, сделать различие между обозными феями, позорящими нашу армию, и мученицами-сестрами, украшающими ее.

Дневник 1920 года

Житомир. 3.6.20

Утром в поезде, приехал за гимнастеркой и сапогами. Сплю с Жуковым, Топольником, грязно, утром солнце в глаза, вагонная грязь. Длинный Жуков, прожорливый Топольник, вся редакционная коллегия — невообразимо грязные человеки.

Дрянной чай в одолженных котелках. Письма домой, пакеты в Югроста, интервью с Поллаком, операция по овладению Новоградом, дисциплина в польской армии — слабеет, польская белогвардейская литература, книжечки папиросной бумаги, спички, до(украинские) жиды, комиссары, глупо, зло, бессильно, бездарно и удивительно неубедительно. Выписка Михайлова из польских газет.

Кухня в поезде, толстые солдаты с налитыми кровью лицами, серые души, удушливый зной в кухне, каша, полдень, пот, прачки толстоногие, апатичные бабы — станки — описать солдат и баб, толстых, сытых, сонных.

Любовь на кухне.

После обеда в Житомир. Белый, не сонный, а подбитый, притихший город. Ищу следов польской культуры. Женщины хорошо одеты, белые чулки. Костел.

Купаюсь у Нуськи в Тетереве, скверная речонка, старые евреи в купальне с длинными тощими ногами, обросшими седым волосом. Молодые евреи. Бабы на Тетереве полощут белье. Семья, красивая жена, ребенок у мужа.

Базар в Житомире, старый сапожник, синька, мел, шнурки.

Здания синагог, старинная архитектура, как все это берет меня за душу.

Стекло к часам 1200 р. Рынок. Маленький еврей философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р. Интересная старуха, злая, толковая, неторопливая. Как они все жадны к деньгам. Описать базар, корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни. Разговор с русской, пришедшей одолжить лоханку. Пот, чахлый чай, въедаюсь в жизнь, прощайте, мертвецы.

Зять Подольский, заморенный интеллигент, что-то о Профсоюзах, о службе у Буденного, я, конечно, русский, мать еврейка, зачем?

Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.

После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворнику, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца — прикололи, ксендз приставил к задней стене лестницу, таким способом спасались.

Заходит суббота, от тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный декаданс. Сам цадик — его широкоплечая, тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике, видны мещанские, но просторные комнаты. Все чинно, жена — обыкновенная еврейка, даже типа модерн.

Лица старых евреев. Разговоры в углу о дороговизне.

Я путаюсь в молитвеннике. Подольский поправляет. Вместо свечи — коптилка.

Я счастлив, огромные лица, горбатые носы, черные с проседью бороды, о многом думаю, до свиданья, мертвецы. Лицо цадика, никелевое пенсне.

— Откуда вы, молодой человек?

— Из Одессы.

— Как там живут?

— Там люди живы.

— А здесь ужас.

Короткий разговор.

Ухожу потрясенный.

Подольский, бледный и печальный, дает мне свой адрес, чудесный вечер. Иду, думаю обо всем, тихие, чужие улицы.

Кондратьев с черненькой еврейкой, бедный комендант в папахе, он не имеет успеха.

А потом ночь, поезд, разрисованные лозунги коммунизма (контраст с тем, что я видел у старых евреев).

Стук машин, своя электрическая станция, свои газеты, идет сеанс синематографа, поезд сияет, грохочет, толстомордые солдаты стоят в хвост у прачек (на два дня).

Житомир. 4.6.20

Утром — пакеты в Югроста, сообщение о житомирском погроме, домой, Орешникову, Нарбуту.

Читаю Гамсуна. Собельман рассказывает мне сюжет своего романа.

Новая рукопись Иова, старик, живший в столетиях, отсюда унесли ученики, чтобы симулировать вознесение, пресыщенный иностранец, русская революция.

Шульц, вот главное, сластолюбие, коммунизм, как мы берем у хозяев яблоки, Шульц разговаривает, его лысина, яблоки за пазухой, коммунизм, фигура Достоевского, тут что-то есть, тут надо выдумать, это неистощимое любострастие, Шульц на улицах Бердичева.

Хелемская, у которой был плеврит, понос, пожелтела, грязный капот, яблочный мусс. Зачем ты здесь, Хелемская? Тебе надо выйти замуж, муж — техническая контора, инженер, аборт или первый ребенок, вот какова была твоя жизнь, твоя мать, ты брала раз в неделю ванну, твой роман Хелемская, и вот как тебе надо жить, и ты приспособишься к революции.

Открытие коммунистического клуба в редакции. Вот он пролетариат — эти из подполья невероятно чахлые еврейки и евреи. Жалкое, страшное племя, иди вперед. Описать потом концерт, женщины поют малороссийские песни.

Купание в Тетереве. Киперман, как мы ищем пищу. Что такое Киперман? Какой я дурак, замотал деньги. Он колеблется как тростина, у него большой нос, и он нервен, может быть, сумасшедший, однако обжулил, как он оттягивает

уплату, заведует клубом. Описать его штаны, нос и неторопливый говор, мучения в тюрьме, страшный человек Киперман.

Ночь на бульваре. Погоня за женщинами. Четыре аллеи, четыре стадии: знакомство, беседа, возникновение желания, удовлетворение желания, внизу Тетерев, лекпом старый, который говорит, что у комиссаров все есть, и вино, но он благожелателен.

Я и украинская редакция.

Гужин, на которого сегодня пожаловалась Хелемская, ищут чего-нибудь получше. Я устал. И вдруг одиночество, течет передо мною жизнь, а что она обозначает.

Житомир. 5.6.20

Получил в поезде сапоги, гимнастерку. Еду на рассвете в Новоград. Машина Thornicroft. Все взято у Деникина. Рассвет на монастырском или школьном дворе. Спал на машине. В 11 часов в Новограде. Дальше на другом Thornicroft'е. Обходной мост. Город живее, развалины кажутся обычными. Беру мой чемодан. Штаб уехал на Корец. Одна из евреек родила, в лечебнице, конечно. Длинный и горбоносый просит службу, бегает за мной с чемоданом. Обещал завтра вернуться. Новоград — Звягель.

На грузовике снабженец в белой папахе, еврей и сутуловатый Морган. Ждем Моргана, он в аптеке, у братишки триппер. Машина идет из-под Фастова. Два толстых шофера. Летим, настоящий русский шофер, вытрясло все внутренности. Поспевает рожь, скачут ординарцы, несчастные, огром-

ные запыленные грузовики, раздетые польские пухлые беловолосые мальчики, пленные, польские носы.

Корец, описать, евреи у большого дома, ешиве бохер в очках, о чем они говорят, старики с желтыми бородами, сутуловатые коммерсанты, хилые, одинокие. Хочу остаться, но телефонисты сворачивают провода. Конечно, штаб уехал. Рвем яблоки и вишни. С бешеной скоростью дальше. Потом шофер, красный кушак, ест хлеб пальцами, запачканными машинным маслом. Не доезжая 6 верст — магнето залито маслом. Починка под палящим солнцем, пот и шоферы. Доезжаю на телеге с сеном (забыл — инспектор артиллерии Тимошенко (?) осматривает орудия в Кореце. Наши генералы). Вечер. Ночь. Парк в Тоще. Мчится Зотов с штабом, скачут обозы, штаб уехал на Ровно, тьфу ты, пропасть. Евреи, решаю остаться у Дувид Ученик, солдаты отговаривают, евреи просят. Умываюсь, блаженство, много евреев. Братья Ученика — близнецы? Раненые зовут знакомиться. Здоровые черти, ранены в мякоть ноги, сами передвигаются. Настоящий чай, ужинаю. Дети Ученика, маленькая, но многоопытная девочка с прищуренными глазами, трепещущая девушка 6 лет, толстая жена с золотыми зубами. Сидят вокруг меня, в доме тревога. Ученик рассказывает — ограбили поляки, потом эти налетели, с гиканьем и шумом, все разнесли, вещи жены.

Девочка — вы не еврей? Ученик сидит и смотрит, как я ем, на его коленях дрожит девочка. Она напугана, погреба и стрельба и ваши. Я говорю — будет хорошо, что такое революция, говорю от избытка. С нами плохо, нас будут грабить, не ложитесь спать.

Ночь, фонарь перед окном, еврейская грамматика, болит душа, волосы у меня свежие, свежая тоска. Пот от чаю. Подмога — Цукерман с винтовкой. Радиотелеграфист. Солдаты во дворе, гонят спать, хихикают. Подслушиваю: предчувствуют, становись, скошу косой.

Лови арестованную. Звезды, ночь над местечком. Казак высокий, с серьгой, с белым донышком шапки. Арестовали сумасшедшую Стасовой — тюфяк, поманила пальцем, идем, я тебе дам, у меня бы всю ночь работала, вилась, скакала бы да не бегала. Солдаты гонят спать. Ужинают — яичница, чай, жаркое, невообразимая грубость, развалясь у стола, хозяйка, дай. Ученик перед своим домом, выставили дежурного, комедия, иди спать, я сторожу свой дом. Страшная история с арестованной сумасшедшей. Ищут — убьют.

Не сплю. Я помешал, они сказали — все пропало.

Тяжелая ночь, дурак с поросячьим телом — радиотелеграфист. Грязные ногти и деликатное обхождение. Беседа о еврейском вопросе. Раненый в черной рубашке — молокосос и хам, старые евреи бегают, женщины в разгоне. Никто не спит. Какие-то девушки на крылечке, какой-то солдат спит на диване.

Пишу дневник. Есть лампа. Парк перед окном, проезжает обоз. Никто не ложится спать. Приехала машина. Морган ищет священника, я веду его к евреям.

Горынь, евреи и старухи у крылечек. Тоща ограблена, в Тоще чисто, Тоща молчит. Чистая работа. Шепотом — все забрали и даже не плачут, специалисты. Горынь, сеть озер и притоков, вечерний свет, здесь был бой перед Ровно. Раз-

говоры с евреями, мое родное, они думают, что я русский, и у меня душа раскрывается. Сидим на высоком берегу. Покой и тихие вздохи за спиной. Иду защищать Ученика. Я им сказал, что у меня мать еврейка, история, Белая Церковь, раввин.

Ровно. 6.6.20

Спал тревожно, несколько часов. Просыпаюсь, солнце, мухи, постель хорошая, еврейские розовые подушки, пух. Солдаты стучат костылями. Снова — дай, хозяйка. Жареное мясо, сахар из граненой стопочки, сидят развалясь, чубы свисают, одеты по-походному, красные штаны, папахи, обрубки ног висят молодцевато. У женщин кирпичные лица, бегают, все не спали. Дувид Ученик бледен, в жилетке. Мне — не уезжайте до того, как они здесь. Забирает фура. Солнце, напротив парк, фура ждет, уехали. Конец. Спас.

Вчера вечером прибыла машина. В 1 час едем из Тощи на Ровно. Горынь на солнце сияет. Гуляю утром. Оказывается, хозяйка не ночевала дома, прислуга с подругами сидела с солдатами, хотевшими ее изнасиловать, всю ночь до рассвета, кормила их беспрерывно яблоками, степенные разговоры, надоело воевать, хотим жениться, идите спать. Девочка кривоглазая разговорилась, Дувид одел жилет, талес, степенно молится, благодарит, на кухне мука, месят, зашевелились, прислуга толстоногая, босая, толстая еврейка с мягкой грудью убирает и беспрерывно рассказывает. Речи хозяйки — она за то, чтобы было хорошо. Дом оживает. Еду на Thornicroft'е в Ровно. Две павших лошади. Сломанные

мосты, автомобиль на мостках, все трещит, бесконечные обозы, скопления, ругань, описать обоз в полдень перед сломанным мостом, всадники, грузовики, двуколки со снарядами. Наш грузовик мчится бешено, хотя он весь изломан, пыль.

Не доезжая 8 верст — стал. Вишни, сплю, потею на солнце. Кузицкий, потешная фигурка, моментально гадает, раскладывает карты, фельдшер из Бородяниц, бабы платили за лечение натурой, жареными курицами и собой, все тревожится — отпустит ли его начсанчасти, показывает действительные раны, когда сходит, хромает, бросил девицу на дороге в 40 верстах от Житомира, иди, она говорила, что за ней ухаживает наштадив. Теряет хлыстик, сидит полуголый, болтает, врет без удержу, карточка брата, бывшего штабротмистра, теперь начдива, женатого на польской княгине, расстрелян деникинцами.

Я медик.

В Ровно пыль, пыльное золото расплавленное течет над скучными домишками.

Проходит бригада, Зотов в окне, ровенцы, вид казаков, изумительное спокойное, уверенное войско. Еврейские девицы и юноши следят с восхищением, старые евреи смотрят равнодушно. Дать воздух Ровно, что-то раздерганное, неустойчивое, и есть быт и польские вывески.

Описать вечер.

Хасты, черноволосая и хитрая девица, приехавшая из Варшавы, ведет, фельдшер, злое словесное зловоние, кокетство, вы у нас будете есть, умываюсь в проходной комнате,

все неудобно, блаженство, я грязен и потен, потом горячий чай с моим сахаром.

Описать тот Хаст, сложная фурия, невыносимый голос, думают, что я не понимаю по-еврейски, ссорятся беспрерывно, животный страх, отец — не простая вещь, улыбающийся фельдшер, лечит от трипперов (?), улыбается, невидим, но, кажется, вспыльчив, мать — мы интеллигенты, у нас ничего нет, он же фельдшер, работник, пусть будут эти, но тихо, мы измучены, явление ошеломляющее — круглый сын с хитрой и идиотской улыбкой за стеклами круглых очков, вкрадчивая беседа, за мной ухаживают, масса сестер, все сволочи (?). Зубной врач, какой-то внук, с которым все разговаривают так же визгливо и истерически, как со стариками, приходят молодые евреи — ровенцы с плоскими и пожелтевшими от страха лицами и рыбьими глазами, рассказывают о польских издевательствах, показывают паспорта, был торжественный декрет о присоединении к Польше и Волыни, вспоминаю польскую культуру, Сенкевича, женщин, великодержавие, опоздали родиться, теперь классовое самосознание.

Даю стирать белье. Пью чай беспрерывно и потею зверски и всматриваюсь в Хастов внимательно, пристально. Ночь на диване. В первый раз со дня выезда разделся. Закрывают все ставни, горит электричество, духота страшная, там спит масса людей, рассказы о грабежах буденновцев, трепет и ужас, за окном фыркают лошади, по Школьной улице обозы, ночь,

. . . .

Белёв. 11.7.20

Ночевал с солдатами штабного эскадрона, на сене. Спал плохо, думаю о рукописях. Тоска, упадок энергии, знаю, что превозмогу, когда это будет? Думаю о Хастах, гниды, вспоминаю все, и эти вонючие души, и бараньи глаза, и высокие скрипучие неожиданные голоса, и улыбающийся отец. Главное — улыбка и он, вспыльчивый, и много тайн, смердящих воспоминаний о скандалах. Огромная фигура мать, она зла, труслива, обжорлива, отвратительна, остановившийся, ожидающий взор. Гнусная и подробная ложь дочери, смеющиеся глаза сына из-под очков.

Слоняюсь по селу. Еду в Клевань, местечко взято вчера 3-й кавбригадой 6-й дивизии. Наши разъезды появились на линии шоссе Ровно — Луцк, Луцк эвакуируется.

8–12-го тяжелые бои, убит Дундич, убит Щадилов, командир 36-го полка, пало много лошадей, завтра будем знать точно.

Приказы Буденного об отобрании у нас Ровно, о неимоверной усталости частей, о том, что яростные атаки наших бригад не дают прежних результатов, беспрерывные бои с 27 мая, если не дадут передышки — армия сделается небоеспособной.

Не рано ли издавать такой приказ? Разумно, будят тыл — Клевань. Похороны 6 или 7 красноармейцев. Поехал за тачанкой. Похоронный марш, на обратном пути с кладбища — походный бравурный марш, процессии не видно. Столяр — бородатый еврей — бегает по местечку, он сколачивает гробы.

Главная улица — тоже Schossowa*.

Моя первая реквизиция — записная книга. Со мной ходит служка Менаше. Обедаю у Мудрика, старая песня, евреи разграблены, недоумение, ждали советскую власть как избавителей, вдруг крики, нагайки, жиды. Меня обступил целый круг, я им рассказываю о ноте Вильсону, об армиях труда, еврейчики слушают, хитрые и сочувственные улыбки, еврей в белых штанах лечился в сосновом лесу, хочет домой. Евреи сидят на завалинках, девицы и старики, мертво, знойно, пыльно, крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи, вот что туманит душу.

Полковник Горов выбран населением, — войт** — 60 лет, дореформенная благородная крыса. Говорим об армии, о Брусилове, если Брусилов пошел, чего же нам думать. Седые усы, шамкает, бывший человек, курит самодельный табак, живет в управлении, старика жалко.

Писарь в волостном управлении, красивый хохол, идеальный порядок, переучивался по-польски, показывает мне книги, статистику в волости — 18600 человек, из них 800 человек поляков, хотели присоединить к Польше, торжественный акт о присоединении к польскому государству.

Писарь тоже дореформенный, в бархатных штанах, с хохлацкой мовой, тронутый новым временем, усики.

---

* Шоссейная (*польск.*).

** Войт — староста, городской голова (*польск.*).

Клевань, его дороги, улицы, крестьяне и коммунизм далеко друг от друга.

Хмелеводство, много рассадников, четыреугольные зеленые стены, сложная культура.

У полковника — голубые глаза, у писаря — шелковистые усы.

Ночь, работа штаба в Белёве. Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства? Трогательная дружба двух братьев. Константин и Михайло. Жолнаркевич — старый служака, точный, работоспособный без надрыва, энергичный без шума, польские усы, польские тонкие ноги. Штаб — это Жолнаркевич, еще 3 писаря, заматывающихся к ночи.

Колоссальное дело, расположение бригад, нет припасов, самое главное — операционные направления, делается незаметно. Ординарцы спят на земле у штаба. Горят тонкие свечки, наштадив в шапке отирает лоб и диктует, диктует беспрерывно — оперсводки, приказания, Артдивизиону, Плетарму, держим направление на Луцк.

Ночь, сплю на сене рядом с Лепиным, латышом, бродят оторвавшиеся кони, выхватывают сено из-под головы.

Белёв. 12.7.20

Утром — начал журнал военных действий, разбираю оперсводки. Журнал — будет интересная штука.

После обеда еду верхом на лошади ординарца Соколова (больного возвратным тифом, он лежит рядом на земле в кожаной куртке, худой и породистый, с плетью в исхудавшей руке, ушел из госпиталя, не кормили, и было скучно, лежал

больной в эту страшную ночь оставления Ровно, весь был залит водой, длинный, шатается, любопытно разговаривает с хозяевами, но и повелительно, точно все мужики его враги). Шпаков, чешская колония. Богатый край, много овса и пшеницы, еду через деревни — Пересопница, Милостово, Плоски, Шпаково. Есть льнянка, из нее подсолнечное масло, и много гречихи.

Богатые деревни, жаркий полдень, пыльные дороги, прозрачное небо без облака, лошадь ленивая, хлещу — бежит. Первая моя поездка верхом. В Милостове — беру подводу Шпакова — еду за тачанкой и лошадьми с предписанием от штаба дивизии.

Мягкосердечие. С восхищением вглядываюсь в нерусскую, чистую, крепкую жизнь чехов. Хороший староста, по всем направлениям скачут всадники, каждый раз новые требования, сорок подвод сена, 10 свиней, агенты Опродкома — хлеба, квитанция у старосты — овес получили — спасибо. Разведком 34-го полка.

Крепкие избы сияют на солнце, черепица, железо, камень, яблоки, каменное здание школы, полугородского типа женщины, яркие передники. Идем к мельнику Юрипову, самый богатый и интеллигентный, высокий красивый типичный чех с западноевропейскими усами. Прекрасный двор, голубятня, это умиляет меня, новые мельничные машины, былое благосостояние, белые стены, обширный двор, одноэтажный просторный светлый дом и комната — хорошая, вероятно, семья у этого чеха, отец — жилистый бедняк,— все добрые, крепкий сын с золотыми зубами,

стройный и широкоплечий. Хорошая, наверное, молодая жена и дети.

Усовершенствованная, конечно, мельница.

Чех набит квитанциями. Забрали четырех лошадей и дали записки в Ровенский уездный комиссариат, забрали фаэтон, дали взамен разломанную тачанку, квитанции три на муку и овес.

Приходит бригада, красные знамена, мощное спаянное тело, уверенные командиры, опытные, спокойные глаза чубатых бойцов, пыль, тишина, порядок, оркестр, рассасываются по квартирам, комбриг кричит мне — ничего не брать отсюда, здесь наш район. Чех беспокойными глазами следит за мотающимся в отдалении молодым ловким комбригом, вежливо разговаривает со мной, отдает сломанную тачанку, но она рассыпается. Я не проявляю энергии. Идем во второй, в третий дом. Староста указывает, где можно взять. У старика действительно фаэтон, сын жужжит над ухом, сломано, передок плохой, думаю — есть у тебя невеста или едете по воскресеньям в церковь, жарко, лень, жалко, всадники рыщут, так выглядит сначала свобода. Ничего не взял, хотя и мог, плохой из меня буденновец.

Обратно, вечер, во ржи поймали поляка, как на зверя охотятся, широкие поля, алое солнце, золотой туман, колышутся хлеба, в деревне гонят скот, розовые пыльные дороги, необычайной нежной формы, из краев жемчужных облаков — пламенные языки, оранжевое пламя, телеги поднимают пыль.

Работаю в штабе, (лошадь скакала здорово), иду спать рядом с Лепиным. Он латыш, морда туповатая, поросячья, очки, кажется, добр. Генштабист.

Острит тупо и неожиданно. Бабка, когда ты умрешь, и вцепился.

В штабе нет керосина. Он говорит — мы стремимся к свету, у нас нет освещения, буду играть с деревенскими девушками, протянул руку, не пускает, морда напряженная, свинячья губа вздрагивает, очки шевелятся.

Белёв. 13.7. 20

Я именинник. 26 лет. Думаю о доме, о своей работе, летит моя жизнь. Нет рукописей. Тупая тоска, буду превозмогать. Веду свой журнал, будет интересная вещь.

Писаря красивые молодые, штабные русские молодые люди поют арии из опереток, развращены немного штабной работой. Описать ординарцев — наштадива и прочих — Черкашин, Тарасов, — барахольщики, лизоблюды, льстецы, обжоры, лентяи, наследие старого, знают господина.

Работа штаба в Белёве. Хорошо налаженная машина, прекрасный начальник штаба, машинная работа и живой человек. Открытие — поляк, убрали его, по требованию начдива вернули, любим всеми, хорошо живет с начдивом, что он чувствует? И не коммунист, и поляк, и служит верно, как цепная собака, разбери. Об операциях. Где стоят наши части. Операция на Луцк. Состав дивизии, комбриги.

Как протекает работа штаба — директива, потом приказ, потом оперативная сводка, потом разведсводка, тащим политотдел, ревтрибунал, конский запас.

Еду в Ясиневичи обменять экипаж на тачанку и лошадей. Пыль невероятная, жара. Едем через Пересопницу, отрада

в полях, 27-й год, думаю, готова рожь, ячмень, местами очень хорош овес, мак отцветает, вишен нет, яблоки неспелые, много льнянки, гречихи, много вытоптанных полей, хмель.

Богатая, но в меру, земля.

Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична, привозят из отдела снабжения, разломал стол, но достал. Дьяков, его любит команда, командир у нас геройский, был атлетом, полуграмотен, теперь «я инспектор кавалерии», генерал, Дьяков — коммунист, смелый старый буденновец. Встретился с миллионером, дама под ручкой, что, господин Дьяков, не встречался ли я с вами в клубе? Был в 8-ми государствах, выйду на сцену, моргну.

Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, каждый раз теряет их, одолела, говорит, канцелярщина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты.

Тачанка и пара тощих лошадей, о лошадях.

К Дьякову с требованиями, уф, заморился, раздавать белье, все в затылок, отношения отеческие, ты будешь (больному) старшим гуртовщиком. Домой. Ночь. Штабная работа.

Живем в доме матери старосты. Веселая хозяйка говорит скороговоркой, подол подоткнут, работает как муравей на своих, да еще на 7 человек. Черкашин (ординарец Лепина)

наглый и надоедливый, не дает покоя, всё мы требуем, какие-то дети шляются, сено забираем, в хате, полной мух, детей, стариков, невеста, толкутся солдаты и горланят. Старуха больна. Старики приходят в гости и горестно молчат, лампочка.

Ночь, штаб, выспренний телефонист, К. Карлыч пишет донесения, ординарцы, дежурные писаря спят, на деревне ни зги, сонный писарь стучит приказ, К. Карлыч точный как часы, молчаливо приходят ординарцы.

Операция на Луцк. Ведет 2-я бригада, пока не взяли. Где наши передовые части?

Белёв. 14.7.20

С нами живет Соколов. Лежит на сене, длинный, русский, в кожаных сапогах. Румяный орловец, безобидный парень Миша. Лепин, когда никто не видит, заигрывает с наймичкой, тупое, напряженное лицо, наша хозяйка говорит скороговоркой, присказки, работает без устали, старуха свекровь — высохшая старушонка, любит ее, Черкашин, ординарец Лепина, понукает, сыпет не замолкая.

Лепин заснул в штабе, совершенно идиотское лицо, никак не может проснуться. На деревне стон, меняют лошадей, дают одров, травят хлеба, забирают скот, жалобы начальнику штаба, Черкашина арестовывают, избил плетью мужика. Лепин 3 часа пишет письмо в Трибунал, Черкашин, мол, находился под влиянием возмутительно провокационных выходок красного офицера Соколова. Не советую — 7 солдат в одной хате.

Злой и тощий Соколов говорит мне — мы всё уничтожаем, ненавижу войну.

Почему все они — Жолнаркевич, Соколов здесь на войне? Все это бессознательно, инертно, недуманье. Хороша система.

Франк Мошер. Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны. Что говорят западноевропейским солдатам? Русский империализм, хотят уничтожить национальности, обычаи — вот главное, захватить все славянские земли, какие старые слова. Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет — судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление.

Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летний Грищук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому (он из Кременецкого уезда), не пускают, молчит.

Начдив Тимошенко в штабе. Колоритная фигура. Колосс, красные полукожаные штаны, красная фуражка, строен, из взводных, был пулеметчиком, артиллерийский прапорщик в прошлом. Легендарные рассказы. Комиссар 1-й бригады испугался огня, ребята на коней; начал бить плетью всех на-

чальников, Книгу, полковых, стреляет в комиссара, на коней, суки, гонится, 5 выстрелов, товарищи, помогите, я тебе дам, помогите, прострелил руку, глаз, осечку револьвер, а я комиссара отчитал, электризует казаков, буденновец, с ним ехать на позиции, или поляки убьют, или он убьет.

2-я бригада атакует Луцк, к вечеру отошла, противник контратакует, большие силы, хочет пробиться на Дубно, Дубно занято нами.

Сводка — взят Минск, Бобруйск, Молодечно, Проскуров, Свенцяны, Сарны, Старо-Константинов, подходят к Галиции, где будет к. маневр — на Стыри или Буге. Ковель эвакуируется, большие силы во Львове, показание Мошера. Будет удар.

Благодарность начдива за бои перед Ровно. Привести приказ.

Деревня, глухо, огонь в штабе, арестованные евреи. Буденновцы несут коммунизм, бабка плачет. Эх, тускло живут россияне. Где украинская веселость? Начинается жатва. Поспевает мак, где бы взять зерно для лошадей и вареники с вишнями.

Какие дивизии левее?

Мошер босой, полдень, тупой Лепин.

Белёв. 15.7.20

Допрос перебежчиков. Показывают наши листовки. Велика их сила, листовки помогают казакам.

Любопытный у нас комиссар — Бахтуров, боевой, толстый, ругатель, всегда на позициях.

Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?

Надо брать оперативные сводки у Лепина, это — мука. Штаб помещается в доме крещеного еврея.

Ординарцы стоят ночью у здания штаба.

Начинают косить. Я учусь распознавать растения. Завтра именины сестры.

Описание Волыни. Гнусно живут мужики, грязно, едим, лирический Матяш, бабник, даже когда со старухой говорит и то протяжнее.

Лепин ухаживает за наймичкой.

Наши части в $1^1/_2$ верстах от Луцка. Армия готовится к конному наступлению — сосредотачивает силы во Львове, подвозит к Луцку.

Взяли воззвание Пилсудского — Воины Речи Посполитой. Трогательное воззвание. Могилы наши белеют костьми пяти поколений борцов, наши идеалы, наша Польша, наш светлый дом, ваша родина смотрит на вас, трепещет, наша молодая свобода, еще одно усилие, мы помним о вас, всё для вас, солдаты Речи Посполитой.

Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов — нет посулов, и слова — порядок, идеалы, свободная жизнь. Наша берет!

Новоселки. 16.7.20

Получен приказ армии — захватить переправы на реке Стыри на участке Рожище — Яловичи.

Штаб переходит в Новоселки, 25 верст. Еду с начдивом, штабной эскадрон, скачут кони, леса, дубы, тропинки, крас-

ная фуражка начдива, его мощная фигура, трубачи, красота, новое войско, начдив и эскадрон — одно тело.

Квартира, молодые хозяева и богатые довольно, есть свиньи, корова, одно слово — немае*.

Рассказ Жолнаркевича о хитром фельдшере. Две женщины, надо справиться. Дал одной касторки, когда ее схватило — направился к другой.

Страшный случай, солдатская любовь, двое здоровых казаков сторговались с одной — выдержишь, выдержу, один три раза, другой полез — она завертелась по комнате и загадила весь пол, ее выгнали, денег не заплатили, слишком была старательная.

О буденновских начальниках — кондотьеры или будущие узурпаторы? Вышли из среды казаков, вот главное — описать происхождение этих отрядов, все эти Тимошенки, Буденные сами набирали отряды, главным образом — соседи из станицы, теперь отряды получили организацию от Соввласти.

Приказ по дивизии выполняется, сильная колонна двигается из Луцка на Дубно, эвакуация Луцка, очевидно, отменяется, туда прибывают войска и техника.

У молодых хозяев — она высокая, со следами деревенской красоты, копается среди 5-ти детей, валяющихся на лавке. Любопытно — каждый ребенок ухаживает за другим, мама, дай ему цицки. Мать — стройная и красная, лежит строго среди этих копошащихся детей. Муж добр. Соколов: этих

* Ничего нет (*укр.*).

щенят надо перестрелять, зачем плодить. Муж: из маленьких будут большие.

Описать наших солдат — Черкашина (сегодня явился маленько ущемленный из Трибунала) — наглого, длинного, испорченного, какой он житель коммунистической России, Матяш, хохол, беспредельно ленивый, охочий до баб, всегда в какой-то истоме, с расшнурованными сапогами, ленивые движения, ординарец Соколова — Миша, был в Италии, красивый, неряшливый.

Описать — поездка с начдивом, небольшой эскадрон, свита начдива, Бахтуров, старые буденновцы, при выступлении — марш.

Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую — 20 тысяч. Ежели поднимется, значит, это лошадь.

Берут свиней, кур, деревня стонет. Описать наше снабжение. Сплю в хате. Ужас их жизни. Мухи. Исследование о мухах, мириады. Пятеро маленьких, кричащих, несчастных.

Продовольствие от нас скрывают.

Новоселки. 17.7.20

Начинаю военный журнал с 16/VII. Еду в Полжу — Политотдел, там едят огурцы, солнце, спят босые за стогами сена. Яковлев обещает содействие. День проходит в работе.

У Лепина вспухла губа. У него покатые плечи. Тяжело с ним. Новая страница — изучаю оперативную науку.

Возле одной из хат — зарезанная теля. Голубоватые соски на земле, кожа только. Неописуемая жалость! Убитая молодая мать.

Новоселки — Мал. Дорогостай. 18.7.20

Польская армия сосредотачивается в районе Дубно — Кременец для решительного наступления. Мы парализуем маневр, предупредим. Армия переходит в наступление на южном участке, наша дивизия в армейском резерве. Наша задача — захватывать переправы через Стырь в районе Луцка.

Выступаем утром в Мал. Дорогостай (севернее Млынова), обоз оставляем, больных и административный штаб тоже, очевидно, предстоит операция.

Получен приказ из югзапфронта, когда будем идти в Галицию — в первый раз советские войска переступают рубеж, — обращаться с населением хорошо. Мы идем не в завоеванную страну, страна принадлежит галицийским рабочим и крестьянам, и только им, мы идем им помогать установить советскую власть. Приказ важный и разумный, выполнят ли его барахольщики? Нет.

Выступаем. Трубачи. Сверкает фуражка начдива. Разговор с начдивом о том, что мне нужна лошадь. Едем, леса, пашни жнут, но мало, убого, кое-где по две бабы и два старика. Волынские столетние леса — величественные зеленые дубы и грабы, понятно, почему дуб — царь.

Едем тропинками с двумя штабными эскадронами, они всегда с начдивом, это отборные войска. Описать убранство их коней, сабли в красном бархате, кривые сабли, жилетки, ковры на седлах. Одеты убого, хотя у каждого по 10 френчей, такой шик, вероятно.

Пашни, дороги, солнце, созревает пшеница, топчем поля, урожай слабый, хлеба низкорослые, здесь много чешских, немецких и польских колоний. Другие люди, благосостояние, чистота, великолепные сады, объедаем несозревшие яблоки и груши, все хотят на постой к иностранцам, ловлю и себя на этом желании, иностранцы запуганы.

Еврейское кладбище за Малином, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм.

Все чаще и чаще встречаются окопы старой войны, везде проволока, ее хватит для заборов еще лет на 10, разоренные деревни, везде строются, но слабо, нет ничего, никаких материалов, цемента.

На привалах с казаками, сено лошадям, у всех длинная история — Деникин, свои хутора, свои предводители, Буденные и Книги, походы по 200 человек, разбойничьи налеты, богатая казацкая вольница, сколько офицерских голов порублено. Газету читают, но как слабо западают имена, как легко все повернуть.

Великолепное товарищество, спаянность, любовь к лошадям, лошадь занимает $^{1}/_{4}$ дня, бесконечные мены и разговоры. Роль и жизнь лошади.

Совершенно своеобразное отношение к начальству — просто, на «ты».

М. Дорогостай разрушено было совершенно, строится.

Въезжаем в сад к батюшке. Берем сено, едим фрукты, тенистый, солнечный прекрасный сад, белая церковка, были коровы, лошади, попик в косичке растерянно ходит и собирает квитанции. Бахтуров лежит на животе, ест простоквашу с вишнями, дам тебе квитанции, право, дам.

У попа объели на целый год. Погибает, говорят, он просится на службу, есть у вас полковые священники?

Вечером на квартире. Опять немае — все врут, пишу журнал, дают картошку с маслом. Ночью в деревне, огромный багровый пламенный круг перед глазами, из разоренного села сбегают желтые пашни. Ночь. Огоньки в штабе. Всегда огоньки в штабе, Карл Карлович диктует приказание наизусть, никогда ничего не забывает, понурив головы, сидят телефонисты. Карл Карлович служил в Варшаве.

М. Дорогостай — Смордва — Бережцы. 19.7.20

Ночь спал плохо. Рези в желудке. Вчера ели зеленые груши. Чувствую себя скверно. Выезжаем на рассвете.

Противник атакует на участке Млынов — Дубно. Мы ворвались в Радзивиллов.

Сегодня на рассвете решительное наступление всех дивизий — от Луцка до Кременца. 5-я, 6-я дивизии — сосредоточены в Смордве, достигнуто Козино.

Берем, значит, на юг.

Выступаем из М. Дорогостай. Начдив здоровается с эскадронами, лошадь трепещет. Музыка. Вытягиваемся по дороге. Невыносимая. Идем через Млынов — Бережцы, в Млынов нельзя заехать, а это еврейское местечко. Подъезжаем к Бережцы, канонада, канцелярия поворачивает назад, пахнет мазутом, по откосам ползут отряды кавалерии. Смордва, дом священника, заплаканные провинциальные барышни в белых чулках, давно таких не видел, раненая попадья, хромая, жилистый поп, крепкий дом, штадив и начдив 14, ждем прибытия бригад, наш штаб на возвышенности, поистине большевистский штаб — начдив Бахтуров, военкомы. Нас обстреливают, начдив молодец — умен, напорист, франтоват, уверен в себе, сообразил обходное движение на Бокунин, наступление задерживается, распоряжения бригадам. Прискакали Колесов и Книга (знаменитый Книга, чем он знаменит). Великолепная лошадь Колесова, у Книги лицо хлебного приказчика, деловитый хохол. Приказания быстры, все советуются, обстрел увеличивается, снаряды падают в 100 шагах.

Начдив 14 пожиже, глуп, разговорчив, интеллигент, работает под буденновца, ругается беспрерывно, я дерусь всю ночь, не прочь прихвастнуть. Длинными лентами извиваются на противоположном берегу бригады, обстрел обозов,

столбы пыли. Буденновские полки с обозами, с коврами по седлам.

Мне все хуже. У меня 39 и 8. Приезжают Буденный и Ворошилов.

Совещание. Пролетает начдив. Бой начинается. Лежу в саду у батюшки. Грищук апатичен совершенно. Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает.

Знает, что такое начальство, немцы научили.

Начинают прибывать раненые, перевязки, голые животы, долготерпение, нестерпимый зной, обстрел с обеих сторон беспрерывный, нельзя забыться. Буденный и Ворошилов на крылечке. Картина боя, возвращаются кавалеристы, запыленные, потные, красные, никаких следов волнения, рубал, профессионалы, все протекает в величайшем спокойствии — вот особенность, уверенность в себе, трудная работа, мчатся сестры на лошадях, броневик Жгучий. Против нас — особняк графа Ледоховского, белое здание над озером, невысокое, некричащее, полное благородства, вспоминаю детство, романы, — много еще вспоминаю. У фельдшера — жалкий красивый молодой еврей — может быть, получал жалованье у графа, сер от тоски. Извините, как положение на фронте? Поляки издевались и мучили, он думает, что теперь настанет жизнь, между прочим, казаки не всегда хорошо поступают.

Отзвуки боя — скачущие всадники, донесения, раненые, убитые.

Сплю у церковной ограды. Какой-то комбриг спит, положив голову на живот какой-то барышни.

Вспотел, полегчало. Еду в Бережцы, там канцелярия, разоренный дом, пью вишневый чай, ложусь в хозяйкину постель, потею, порошок аспирина. Хорошо бы поспать. Вспоминаю — у меня жар, зной, у церковной ограды солдаты с воем, а другие с хладнокровием, припускают жеребцов.

Бережцы, Сенкевич, пью вишневый чай, лег на пружинный матрац, ребенок какой-то задыхается рядом. Забылся часа на два. Будят. Я пропотел. Едем ночью обратно в Смордву, оттуда дальше, опушка леса. Поездка ночью, луна, где-то впереди эскадрон.

Избушка в лесу. Мужики и бабы спят вдоль стен. Константин Карлович диктует. Картина редкая — вокруг спит эскадрон, все во тьме, ничего не видно, из лесу тянет холодом, натыкаюсь на лошадей, в штабе — едят, больной ложусь у тачанки на землю, сплю 3 часа, укрытый шалью и шинелью Барсукова, хорошо.

20.7.20. Высоты у Смордвы. Пелча

Выступаем в 5 часов утра. Дождь, сыро, идем лесами. Операция идет успешно, наш начдив верно указал путь обхода, продолжаем загибать. Промокли, лесные дорожки. Обход через Бокуйку на Пелчу. Сведения, в 10 часов взята Добрыводка, в 12 часов после ничтожного сопротивления Козин. Мы преследуем противника, идем на Пелчу. Леса, лесные дорожки, эскадроны вьются впереди.

Здоровье мое лучше, неисповедимыми путями.

Изучаю флору Волынской губернии, много вырублено, вырубленные опушки, остатки войны, проволока, белые окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги в лесу, ясень.

По лесным тропинкам в Пелчу. Приезжаем к 10 часам. Опять село, хозяйка длинная, скучно — немае, очень чисто, сын был в солдатах, дает нам яиц, молока нет, в хате невыносимо душно, идет дождь, размывает все дороги, черная глюкающая грязь, к штабу не подойти. Целый день сижу в хате, тепло, там дождь за окном. Как скучна и пресна для меня эта жизнь — цыплята, спрятанная корова, грязь, тупость. Над землей невыразимая тоска, все мокро, черно, осень, а у нас в Одессе…

В Пелче захватили обоз 49-го польского пехотного полка. Дележ под окном, совершенно идиотская ругань, притом подряд, другие слова скучны, их не хочется произносить, о ругани, Спаса мать, гада мать, крестьянки ежатся, Бога мать, дети спрашивают, — солдаты ругаются. Бога мать. Застрелю, бей.

Мне достается бумажный мешок и сумка к седлу. Описать эту мутную жизнь. Хлопец не идет работать на поле. Сплю на хозяйской кровати. Узнали о том, что Англия предложила мир Сов. России с Польшей, неужели скоро кончим?

21.7.20. Пелча — Боратин

Нами взят Дубно. Сопротивление, несмотря на то, что мы говорим — ничтожное. В чем дело? Пленные говорят и видно — революция маленьких людей. Много об этом можно

сказать, красота фронтона Польши, есть трогательность, моя графиня. Рок, гонор, евреи, граф Ледоховский. Пролетарская революция. Как я вдыхаю запах Европы — идущий оттуда.

Выезжаем в Боратин через Добрыводка, леса, поля, тихие очертания, дубы, опять музыка и начдив, и сбоку — война. Привал в Жабокриках, ем белый хлеб. Грищук кажется мне иногда ужасным — забит? Немцы, эта жующая челюсть.

Описать Грищука.

В Боратине — крепкое, солнечное село. Хмиль, смеющийся дочке, молчаливый, но богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота, отхожу от болезни, для меня все крестьяне на одно лицо, молодая мать. Грищук сияет, ему дали яичницу с салом, прекрасная, тенистая клуня, клевер. Отчего Грищук не убегает?

Прекрасный день. Мое интервью с Константином Карловичем. Что такое наш казак? Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость. Мы авангард, но чего? Население ждет избавителей, евреи свободы — приезжают кубанцы...

Командарм вызывает начдива на совещание в Козин. 7 верст. Еду. Пески. Каждый дом остался в сердце. Кучки евреев. Лица, вот гетто, и мы старый народ, измученные, есть еще силы, лавка, пью кофе великолепный, лью бальзам на душу лавочника, прислушивающегося к шуму в лавке. Казаки кричат, ругаются, лезут на полки, несчастная лавка, потный рыжебородый еврей... Брожу без конца, не могу

оторваться, местечко было разрушено, строится, существует 400 лет, остатки синагоги, великолепный разрушенный старый храм, бывший костел, теперь церковь, очаровательной белизны, в три створки, видный издалека, теперь церковь. Старый еврей — я люблю говорить с нашими — они меня понимают. Кладбище, разрушенный домик рабби Азраила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом, эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания, этот замученный еврей — мой проводник, какая-то семья тупых толстоногих евреев, живущих в деревянном сарае при кладбище, три гроба евреев солдат, убитых в русско-германскую войну. Абрамовичи из Одессы, хоронить приезжала мать, и я вижу эту еврейку, хоронящую сына, погибшего за противное ей непонятное, преступное дело.

Новое и старое кладбище — местечку 400 лет.

Вечер, хожу между строениями, евреи и еврейки читают афиши и прокламации, Польша — собака буржуазии и прочее. Смерть от насекомых и не уносите печей из теплушек.

Евреи — портреты, длинные, молчаливые, длиннобородые, не наши толстые и jovial*. Высокие старики, шатающиеся без дела. Главное — лавка и кладбище.

7 верст обратно в Боратин, прекрасный вечер, душа полна, богатые хозяева, лукавые девушки, яичница, сало, наши гоняют мух, русско-украинская душа. Мне, верно, не интересно.

---

* Жизнерадостные, веселые (*фр.*).

22.7.20. Боратин

До обеда — доклад в Полештарм. Хорошая солнечная погода, богатое, крепкое село, иду на мельницу, что такое водяная мельница, еврей служка, потом купаюсь в холодной мелкой речке под нежарким солнцем Волыни. Две девочки играют в воде, странное, с трудом преодолимое желание сквернословить, скользкие и грубые слова.

Соколову худо. Даю ему лошадей для отправки в госпиталь. Штаб выезжает в Лешнюв (Галиция, в первый раз переходим границу). Я жду лошадей. Хорошо в деревне, светло, сыто.

Выезжаю через два часа на Хотин. Дорога леском, тревога. Грищук туп и страшен. Я на тяжелой лошади Соколова. Я один на дороге. Светло, прозрачно, не жарко, легкая теплота. Фурманка впереди, пять человек, похожих на поляков. Игра, едем, останавливаемся, откуда? Взаимный страх и тревога. У Хотина видны наши, въезжаем, стрельба. Дикая скачка назад, тащу коня на поводу. Пули жужжат, воют. Артиллерийский огонь. Грищук то несется с мрачной и молчаливой энергией, то в опасные минуты — непонятен, вял, черен, заросшая челюсть. В Боратине уже никого нет. Обоз за Боратином, начинается каша. Обозная эпопея, отвращение и мерзость. Командует Гусев. Стоим полночи у Козина, стрельба. Высылаем разведку, никто ничего не знает, разъезжают верховые, имеющие деловой вид, высокий немчик — райкоменданта, ночь, хочется спать, чувство беспомощности — не знаешь, куда тебя везут, думаю, что это 20–30 человек из загнанных нами в леса, набег. Но откуда

артиллерия? Засыпаю на полчаса, говорят, была перестрелка, наши выслали цепь. Двигаемся дальше. Лошади измучены, ужасная ночь, двигаемся колоссальным обозом в непроглядной тьме, неизвестно, через какие деревни, пожарище где-то сбоку, пересекают дорогу другие обозы — потрясен фронт или обозная паника?

Ночь тянется бесконечно, попадаем в яму. Грищук странно правит, нас бьют сзади дышлом, крики где-то вдали, останавливаемся через каждые полверсты и стоим томительно, бесцельно, долго.

У нас рвется вожжа, тачанка не повинуется, отъезжаем в поле, ночь, у Грищука припадок звериного, тупого, безнадежного и бесящего меня отчаяния: о, сгорили б те вожжи, о, — сгори да сгори. Он слеп, он признается в этом, Грищук, он ничего не видит ночью. Обоз нас оставляет, дороги тяжелы, черная грязь, Грищук, хватаясь за обрывок вожжи, — неожиданным своим звенящим тенорком — пропадем, поляк догонит, канонада отовсюду, обозные — мы в кругу. Едем на авось с порванной вожжой. Тачанка визжит, тяжелый мутный рассвет вдали, мокрые поля. Фиолетовые полосы на небе, с черными провалами. На рассвете — местечко Верба. Железнодорожное полотно — мертвое, мелкое, пахнет Галицией. 4 часа утра.

23.7.20. В Вербе

Евреи, не спавшие ночь, стоят жалкие, как птицы, синие, взлохмаченные, в жилетах и без носков. Мокрый безрадостный рассвет, вся Верба забита обозами, тысячи повозок, все

возницы на одно лицо, перевязочные отряды, штаб 45-й дивизии, слухи тяжелые и, вероятно, нелепые, и эти слухи несмотря на цепь наших побед... Две бригады 11-й дивизии в плену, поляки захватили Козин, несчастный Козин, что там будет. Стратегическое положение любопытное, 6-я дивизия в Лешнюве, поляки в Козине, в Боратине, в тылу, исковерканные пироги. Ждем на дороге из Вербы. Стоим два часа, Миша в белой высокой шапке с красной лентой скачет по полю. Все едят — хлеб с соломой, зеленые яблоки, грязными пальцами, вонючими ртами — грязную, отвратительную пищу. Едем дальше. Изумительно — остановки через каждые 5 шагов, нескончаемые линии обозов 45-й и 11-й дивизий, мы то теряем наш обоз, то находим его. Поля, потоптанное жито, объеденные, еще не совсем объеденные деревни, местность холмистая, куда приедем? Дорога на Дубно. Леса, великолепные старинные тенистые леса. Жара, в лесах тень. Много вырублено для военных надобностей, будь они прокляты, голые опушки с торчащими пнями. Древние Волынские Дубенские леса, узнать, где-то достают мед, пахучий, черный.

Описать леса.

Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба. Следует ужас, она варит на 100 человек, мухи, распаренная и растрясенная комиссарская Шурка, свежина с картошкой, берут все сено, косят овес, картошка пудами, девочка сбивается с ног, остатки благоустроенного хозяйства. Жалкий длинный улыбающийся чех, полная хорошая, иностранная женщина жена.

Вакханалия. Сдобная гусевская Шурка со свитой, красноармейцы — дрянь, обозники, все это топчется на кухне, сыплет картошку, ветчина, пекут коржи. Температура невыносимая, задыхаешься, тучи мух. Замученные чехи. Крики, грубость, жадность. Все же великолепный у меня обед — жареная свинина с картошкой и великолепный кофе. После обеда сплю под деревьями — тихий тенистый откос, качели летают перед глазами. Перед глазами — тихие зеленые и желтые холмы, облитые солнцем, и леса, Дубенские леса. Сплю часа три. Потом в Дубно. Еду с Прищепой, новое знакомство, кафтан, белый башлык, безграмотный коммунист, он ведет меня к жене. Муж — а гробер менч* — ездит на лошаденке по деревням и скупает у крестьян продукты. Жена — сдобная, томная, хитрая, чувственная молодая еврейка, 5 месяцев замужем, не любит мужа, впрочем, чепуха, заигрывает с Прищепой. Центр внимания на меня — er ist ein** <нрзб> — вглядывается, спрашивает фамилию, не отрывает глаз, пьем чай, у меня идиотское положение, я тих, вял, вежлив и за каждое движение благодарю. Перед глазами — жизнь еврейской семьи, приходит мать, какие-то барышни, Прищепа — ухажер. Дубно переходило несколько раз из рук в руки. Наши, кажется, не грабили. И опять все трепещут, и опять унижение без конца, и ненависть к полякам, рвавшим бороды. Муж — будет ли свобода торговли, немножко купить и сейчас же продать, не спекулировать.

---

* Грубиян (*еврейск.*).

** Он (*нем.*).

Я говорю — будет, все идет к лучшему — моя обычная система — в России чудесные дела — экспрессы, бесплатное питание детей, театры, интернационал. Они слушают с наслаждением и недоверием. Я думаю — будет вам небо в алмазах, все перевернет, всех вывернет, в который раз, и жалко.

Дубенские синагоги. Все разгромлено. Осталось два маленьких притвора, столетия, две маленькие комнатушки, все полно воспоминаний, рядом четыре синагоги, а там выгон, поля и заходящее солнце. Синагоги приземистые старинные зеленые и синие домишки, хасидская, внутри — архитектуры никакой. Иду в хасидскую. Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет, старики бегают по синагоге — воя нет, почему-то все ходят из угла в угол, молитва самая непринужденная. Вероятно, здесь скопились самые отвратительные на вид евреи Дубно. Я молюсь, вернее, почти молюсь и думаю о Гершеле, вот как бы описать. Тихий вечер в синагоге, это всегда неотразимо на меня действует, четыре синагожки рядом. Религия? Никаких украшений в здании, все бело и гладко до аскетизма, все бесплотно, бескровно, до чудовищных размеров, для того, чтобы уловить, нужно иметь душу еврея. А в чем душа заключается? Неужто именно в наше столетие они погибают?

Уголок Дубно, четыре синагоги, вечер пятницы, евреи и еврейки у разрушенных камней — все памятно. Потом вечер, селедка, грустный, оттого что не с кем совокупиться. Прищепа и дразнящая, раздражающая Женя, ее еврейские и блистающие глаза, толстые ноги и мягкая грудь. Прищепа —

руки грузнут, и ее упорный взгляд, и дурак муж, кормящий в крохотном закутке перемененную лошадь.

Ночуем у других евреев, Прищепа просит, чтобы ему играли, толстый мальчик с твердым, тупым лицом, задыхаясь от ужаса, говорит, что у него нет настроения. Лошадь напротив в дворике. Грищуку 50 верст от дому. Он не убегает.

Поляки наступают в районе Козина-Боратино, они у нас в тылу, 6-я дивизия в Лешнюве, Галиция. Идет операция на Броды, Радзивиллов вперед и одной бригадой на тыл. 6 дивизия в тяжких боях.

24.7.20

Утром — в Штарме. 6 дивизия ликвидирует противника, напавшего на нас в Хотине, район боев Хотин — Козин, и я думаю — несчастный Козин.

Кладбище, круглые камни.

Из Кривих с Прищепой еду в Лешнюв на Демидовку. Душа Прищепы — безграмотный мальчик, коммунист, родителей убили кадеты, рассказывает, как собирал свое имущество по станице. Декоративен, башлык, прост как трава, будет барахольщик, презирает Грищука за то, что тот не любит и не понимает лошадей. Едем через Хорупань, Смордву и Демидовку. Запомнить картину — обозы, всадники, полуразрушенные деревни, поля и леса, дубы, изредка раненые и моя тачанка.

В Демидовке к вечеру. Еврейское местечко, я настораживаюсь. Евреи по степи, все разрушено. Мы в доме, где масса женщин. Семья Ляхецких, Швехвелей, нет, это не Одесса.

Зубной врач — Дора Ароновна, читает Арцыбашева, а вокруг гуляет казачье. Она горда, зла, говорит, что поляки унижали чувство собственного достоинства, презирает за плебейство коммунистов, масса дочерей в белых чулках, набожные отец и мать. Каждая дочь — индивидуальность, одна жалкая, черноволосая, кривоногая, другая — пышная, третья — хозяйственная, и все, вероятно, старые девы.

Главные раздоры — сегодня суббота. Прищепа заставляет жарить картошку, а завтра пост, 9 Аба, и я молчу, потому что я русский. Зубной врач, бледная от гордости и чувства собственного достоинства, заявляет, что никто не будет копать картошки, потому что праздник.

Долго мною сдерживаемый Прищепа прорывается — жиды, мать, весь арсенал, они все, ненавидя нас и меня, копают картошку, боятся в чужом огороде, валят на кресты, Прищепа негодует. Как все тяжко — и Арцыбашев, и сирота гимназистка из Ровно, и Прищепа в башлыке. Мать ломает руки — развели огонь в субботу, кругом брань. Здесь был Буденный и уехал. Спор между еврейским юношей и Прищепой. Юноша в очках, черноволос, нервен, алые воспаленные веки, неправильная русская речь. Он верит в Бога, Бог — это идеал, который мы носим в нашей душе, у каждого человека в душе есть свой Бог, поступаешь дурно — Бог скорбит, эти глупости высказываются восторженно и с болью. Прищепа оскорбительно глуп, он разговаривает о религии в древности, путает христианство с язычеством, главное — в древности была коммуна, конечно, плетет без толку, ваше образование — никакого, и евреи — 6 классов Ровенской

гимназии — говорит по Платонову — трогательно и смешно — роды, старейшины, Перун, язычество.

Мы едим как волы, жареный картофель и по 5 стаканов кофе. Потеем, всё нам подносят, всё это ужасно, я рассказываю небылицы о большевизме, расцвет, экспрессы, московская мануфактура, университеты, бесплатное питание, ревельская делегация, венец — рассказ о китайцах, и я увлекаю всех этих замученных людей. 9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает свою мать и говорит, что верит в Бога для того, чтобы сделать ей приятное, приятным тенорком поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова. Коптит лампочка, воет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидовка, ночь, казаки, все как тогда, когда разрушали храм. Иду спать на дворе, вонючем и мокром.

Беда с Грищуком — он в каком-то остолбенении, ходит, как сомнамбула, лошадей кормит слабо, о бедах заявляет post-factum*, благоволит к мужикам и детям.

Приехали с позиции пулеметчики, останавливаются в нашем дворе, ночь, они в бурках. Прищепа ухаживает за еврейкой из Кременца, хорошенькая, полная, в гладком платье. Она нежно краснеет, кривой тесть сидит неподалеку, она цветет, с Прищепой можно поговорить, она цветет и жеманится, о чем они беседуют, потом — он спать, провести

* Задним числом (*лат.*).

время, ей мучительно, кому ее душа понятнее, чем мне? Он — будем пихать, я думаю с тоской — неужели она, говорит Прищепа — согласилась (у него все соглашаются). Вспоминаю, у него, вероятно, сифилис, вопрос — излечился.

Девушка потом — я буду кричать. Описать их первые деликатные разговоры, о чем же вы думаете — она интеллигентный человек, служила в Ревкоме.

Боже, думаю я, женщины теперь слышат все ругательства, живут по-солдатски, где нежность?

Ночью гроза и дождь, бежим в хлев, грязно, темно, мокро, холодно, пулеметчиков на рассвете гонят на позиции, они собираются под проливным дождем, бурки и иззябшие лошади. Жалкая Демидовка.

25.7.20

Утром отъезд из Демидовки. Мучительные два часа, евреек разбудили в 4 часа утра и заставили варить русское мясо, и это 9 Аба. Девушки полуголые и встрепанные бегают по мокрым огородам, похоть владеет Прищепой неотступно, он нападает на невесту сына кривого старика, в это время забирают подводу, идет ругань невероятная, солдаты едят из котлов мясо, она — я буду кричать, ее лицо, он прижимает к стене, безобразная сцена. Она всячески отбивает подводу, они спрятали ее на чердаке, будет хорошая еврейка. Она препирается с комиссаром, говорящим о том, что евреи не хотят помогать Красной Армии.

Я потерял портфель, потом нашел его в штабе 14 дивизии в Лешнюве.

Едем на Остров — 15 верст, оттуда дорога на Лешнюв, там опасно, польские разъезды. Батюшка, его дочь, похожая на Плевицкую или на веселый скелет. Киевская курсистка, все истосковались по вежливости, я рассказываю небылицы, она не может оторваться. 15 опасных верст, скачут часовые, проезжаем границу, деревянный настил. Везде окопы.

Приезжаем в штаб. Лешнюв. Полуразрушенное местечко. Русские достаточно запаскудили. Костел, униатская церковь, синагога, красивые здания, несчастная жизнь, какие-то призрачные евреи, отвратительная хозяйка, галичанка, мухи и грязь, длинный, одичавший оболтус, славяне второго сорта. Передать дух разрушенного Лешнюва, худосочие и унылая полузаграничная грязь.

Сплю в клуне. Идет бой под Бродами и у переправы — Чуровице. Циркуляры о советской Галиции. Пасторы. Ночь в Лешнюве. Как все это невообразимо грустно, и эти одичалые и жалкие галичане, и разрушенные синагоги, и мелкая жизнь на фоне страшных событий, до нас доходят только отсветы.

26.7.20. Лешнюв

Украина в огне. Врангель не ликвидирован. Махно делает набеги в Екатеринославской и Полтавской губерниях. Появились новые банды, под Херсоном — восстание. Почему они восстают, короток коммунистический пиджак?

Что с Одессой, тоска.

Много работы, восстанавливаю прошлое. Сегодня утром взяты Броды, опять окруженный противник ушел, резкий

приказ Буденного, 4 раза выпустили, умеем раскачать, но нет сил задержать.

Совещание в Козине, речь Буденного, перестали маневрировать, лобовые удары, теряем связь с противником, нет разведки, нет охранения, начдивы не имеют инициативы, мертвые действия.

Разговариваю с евреями, в первый раз — неинтересные евреи. Сбоку разрушенная синагога, рыженький из Броды, земляки из Одессы.

Переезжаю к безногому еврею, благоденствие, чистота, тишина, великолепный кофе, чистые дети, отец потерял обе ноги на ит. фронте, новый дом, строятся, жена корыстолюбива, но прилична, вежлива, маленькая тенистая комнатка, отдыхаю от галичан.

У меня тоска, надо все обдумать, и Галицию, и мировую войну, и собственную судьбу.

Жизнь нашей дивизии. О Бахтурове, о начдиве, о казаках, мародерство, авангард авангарда. Я чужой.

Вечером паника, противник потеснил нас из Чуровице, был в $1^1/_2$ верстах от Лешнюва. Начдив ускакал и прискакал. И начинается странствие, и снова ночь без сна, обозы, таинственный Грищук, лошади идут бесшумно, брань, леса, звезды, где-то стоим. На рассвете Броды, все это ужасно — везде проволока, обгоревшие трубы, малокровный город, пресные дома, говорят, здесь есть товары, наши не преминут, здесь были заводы, русское военное кладбище и поистине — безвестные одинокие кресты у могил — русские солдаты.

Белая совсем дорога, вырубленные леса, все исковеркано, галичане на дорогах, австрийская форма, босые с трубками, что в их лицах, какая тайна ничтожества, обыденщины, покорности.

Радзивиллов — хуже Брод, проволока на столбах, красивы здания, рассвет, жалкие фигуры, оборванные фрукты, обтрепанные зевающие евреи, разбитые дороги, снесенные распятия, бездарная земля, подбитые католические храмы, где ксендзы — а здесь были контрабандисты, и я вижу прежнюю жизнь.

Хотин. 27.7.20

От Радзивиллова — бесконечные деревни, мчащиеся вперед всадники, тяжело после бессонной ночи.

Хотин — та самая деревня, где нас обстреляли. Квартира — ужасная — нищета, баня, мухи, степенный, кроткий, стройный мужик, прожженная баба, ничего не дает, достаю сало, картошку. Живут нелепо, дико, комнатенка и мириады мух, ужасная пища, и не надо ничего лучше — и жадность, и отвратительное неизменяющееся устройство жилища, и воняющие на солнце шкуры, грязь без конца раздражает.

Был помещик — Свешников, разбит завод, разбита усадьба, величественный остов завода, красное кирпичное здание, размещенные аллеи, уже нет следа, мужики равнодушны.

У нас хромает артснабжение, втягиваюсь в штабную работу — гнусная работа убийства. Вот заслуга коммунизма —

нет хоть проповеди вражды к врагам, только, впрочем, к польским солдатам.

Привезли пленных, одного совершенно здорового ранил двумя выстрелами без всякой причины красноармеец. Поляк корчится и стонет, ему подкладывают подушку.

Убит Зиновьев, молоденький коммунист в красных штанах, хрипы в горле и синие веки.

Носятся поразительные слухи — 30-го начинают переговоры о перемирии.

Ночью в вонючей дыре, называемой двором. Не сплю поздно, захожу в штаб, дела с переправой не блестящи.

Поздняя ночь, красный флаг, тишина, жаждущие женщин красноармейцы.

28.7.20. Хотин

Бой за переправу у Чуровице. 2-я бригада в присутствии Буденного — истекает кровью. Весь пехотный батальон — ранен, избит почти весь. Поляки в старых блиндированных окопах. Наши не добились результата. Крепнет ли у поляков сопротивление?

Разложения перед миром — не видно.

Я живу в бедной хате, где сын с большой головой играет на скрипке. Терроризирую хозяйку, она ничего не дает. Грищук, окаменелый, плохо ухаживает за конями, оказывается, он приучен голодом.

Разрушенная экономия, барин Свешников, разбитый величественный винный завод (символ русского барина?), когда выпустили спирт — все войска перепились.

Раздраженный — я не перестаю негодовать, грязь, апатия, безнадежность русской жизни невыносимы, здесь революция что-то сделает.

Хозяйка прячет свиней и корову, говорит быстро, елейно и с бессильной злобой, ленива, и я чувствую, что она разрушает хозяйство, муж верит в власть, очарователен, кроток, пассивен, похож на Строева.

Скучно в деревне, жить здесь — это ужасно. Втягиваюсь в штабную работу. Описать день — отражение боя, идущего в нескольких верстах от нас, ординарцы, у Лепина вспухла рука.

Красноармейцы ночуют с бабами.

История — как польский полк четыре раза клал оружие и защищался вновь, когда его начинали рубить.

Вечер, тихо, разговор с Матяш, он беспредельно ленив, томен, соплив и как-то приятно, ласково похотлив. Страшная правда — все солдаты больны сифилисом. У Матяш, выздоравливает (почти не лечась). У него был сифилис, вылечил за две недели, он с кумом заплатил бы в Ставрополе 10 коп. серебром, кум умер, у Миши есть много раз, у Сенечки, у Гераси сифилис, и все ходят к бабам, а дома невесты. Солдатская язва. Российская язва — страшно. Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размолоченное стекло. Все бойцы — бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь.

Письмо Жене, тоска по ней и по дому.

Надо следить за особотделом и ревтрибуналом.

Неужели 30-го переговоры о мире?

Приказ Буденного. Мы в четвертый раз выпустили противника, под Бродами был совершенно окружен.

Описать Матяша, Мишу. Мужики, в них хочется вникать.

Мы имеем силы маневрировать, окружать поляков, но хватка, в сущности, слабая, они пробиваются, Буденный сердится, выговор начдиву. Написать биографии начдива, военкома Книги и проч.

29.7.20. Лешнюв

Утром уезжаем в Лешнюв. Снова у прежнего хозяина — чернобородого, безногого Фроима. За время моего отсутствия его ограбили на 4 тысячи гульденов, забрали сапоги. Жена — льстивая сволочь, холоднее ко мне, видит, что поживиться трудно, как они жадны. Я разговариваю с ней по-немецки. Начинается дурная погода.

У Фроима — дети хромоногие, их много, я их не разбираю, корову и лошадь он прячет.

В Галиции невыносимо уныло, разбитые костелы и распятие, хмурое небо, прибитое, бездарное, незначительное население. Жалкое, приученное к убийству, солдатам, непорядку, степенные русские плачущие бабы, взрытые дороги, низкие хлеба, нет солнца, ксендзы в широких шляпах — без костелов. Гнетущая тоска от всех строящих жизнь.

Славяне — навоз истории?

День протекает тревожно. Поляки прорвали расположение 14-й дивизии правее нас, вновь заняли Берестечко. Сведений никаких, кадриль, они заходят нам в тыл.

Настроение в штабе. Константин Карлович молчит. Писаря — эта откормленная, наглая, венерическая шпанка — тревожится. После тяжкого однообразного дня — дождливая ночь, грязь — у меня туфли. Вот и начинается могущественный дождь, истинный победитель.

Шлепаем по грязи, пронизывающий мелкий дождь.

Стрельба орудийная и пулеметная все ближе. Меня клонит ко сну нестерпимо. Лошадям нечего дать. У меня новый кучер — поляк Говинский, высокий, проворный, говорливый, суетливый и, конечно, наглый парень.

Грищук идет домой, иногда он прорывается — я замученный, по-немецки он не мог научиться, потому что хозяин у него был серьезный, они только ссорились, но никогда не разговаривали.

Оказывается еще — он голодал семь месяцев, а я скупо давал ему пищу.

Совершенно босой, с впавшими губами, синими глазами — поляк. Говорлив и весел, перебежчик, мне он противен.

Клонит ко сну непреодолимо. Спать опасно. Ложусь одетый. Рядом со мною две ноги Фроима стоят на стуле. Светит лампочка, его черная борода, на полу валяются дети.

Десять раз встаю — Говинский и Грищук спят — злоба. Заснул к четырем часам, стук в дверь — ехать. Паника, неприятель у местечка, стрельба из пулеметов, поляки приближаются. Все скачет. Лошадей не могут вывести, ломают ворота, Грищук со своим отвратительным отчаянием, нас четыре человека, лошади не кормлены, надо заехать

за сестрой, Грищук и Говинский хотят ее бросать, я кричу не своим голосом — сестра? Я зол — сестра глупа, красива. Летим по шоссе на Броды, я покачиваюсь и сплю. Холодно, пронизывает ветер и дождь. Надо следить за лошадьми, сбруя ненадежна, поляк поет, дрожу от холода, сестра говорит глупости. Качаюсь и сплю. Новое ощущение — не могу раскрыть век. Описать — невыразимое желание спать.

Опять бежим от поляка. Вот она — кав. война. Просыпаюсь — мы стоим перед белыми зданиями. Деревня? Нет, Броды.

30.7. Броды

Унылый рассвет. Надоела сестра. Где-то бросили Грищука. Дай ему Бог.

Куда заехать? Усталость гнетет. 6 часов утра. Какой-то галичанин, к нему. Жена на полу с новорожденным. Он — тихий старичок, дети с голой женой, их трое, четверо.

Еще какая-то женщина. Пыль, прибитая дождем. Подвал. Распятие. Изображение святой Девы. Униаты действительно ни то ни другое. Сильный католический налет. Блаженство — тепло, какая-то горячая вонь от детей, женщин. Тишина и уныние. Сестра спит, я не могу, клопы. Нет сена, я кричу на Говинского. У хозяев нет хлеба, молока.

Город разрушен, ограблен. Город огромного интереса. Польская культура. Старинное, богатое, своеобразное еврейское поселение. Эти ужасные базары, карлики в капотах, капоты и пейсы, древние старики. Школьная улица, 9 синагог, все полуразрушено, осматриваю новую синагогу, архи-

тектура <нрзб> кондьеш, шамес, бородатый и говорливый еврей — хоть бы мир, как будет торговля, рассказывает о разграблении города казаками, об унижениях, чинимых поляками. Прекрасная синагога, какое счастье, что у нас есть хотя бы старые камни. Это еврейский город — это Галиция, описать. Окопы, разбитые фабрики, Бристоль, кельнерши, «западноевропейская» культура и как жадно на это бросаешься. Эти жалкие зеркала, бледные австрийские евреи — хозяева. И рассказы — здесь были американские доллары, апельсины, сукно.

Шоссе, проволока, вырубленные леса и уныние, уныние без конца. Есть нечего, надеяться не на что, война, все одинаково плохи, одинаково чужие, враждебные, дикие, была тихая и, главное, исполненная традиций жизнь.

Буденновцы на улицах. В магазинах — только ситро, открыты еще парикмахерские. На базаре у мегер — морковь, все время идет дождь, беспрерывный, пронзительный, удушающий. Нестерпимая тоска, люди и души убиты.

В штабе — красные штаны, самоуверенность, важничают мелкие душонки, масса молодых людей, среди них и евреи, состоят в личном распоряжении командарма и заботятся о пище.

Нельзя забыть Броды и эти жалкие фигуры, и парикмахеров, и евреев, пришедших с того света, и казаков на улицах.

Беда с Говинским, лошадям совершенно нет корма. Одесская гостиница Гальперина, в городе голод, есть нечего, вечером хороший чай, утешаю хозяина, бледного и растревоженного, как мышь. Говинский нашел поляков, взял у них

кепи, кто-то помог и Говинскому. Он нестерпим, лошадей не кормит, где-то шатается, болтает, ничего не может достать, боится, чтобы его не арестовали, а его пытались уже арестовать, приходили ко мне.

Ночь в гостинице, рядом супруги и разговоры, и слова и... в устах женщины, о русские люди, как отвратительно вы проводите ваши ночи и какие голоса стали у ваших женщин. Я слушаю, затаив дыхание, и мне тяжко.

Ужасная ночь в этих замученных Бродах. Быть наготове. Я таскаю ночью сено лошадям. В штабе. Можно спать, противник наступает. Вернулся домой, спал крепко, с помертвевшим сердцем, разбудил Говинский.

31.7.20. Броды, Лешнюв

Утром перед отъездом на Золотой улице ждет тачанка, час в книжном магазине, немецкий магазин. Есть все великолепные неразрезанные книги, альбомы, Запад, вот он Запад, и рыцарская Польша, хрестоматия, история всех Болеславов, и почему-то мне кажется, что это красота, Польша, на ветхое тело набросившая сверкающие одежды. Я роюсь, как сумасшедший, перебегаю, темно, идет поток и разграбление канцелярских принадлежностей, противные молодые люди из трофкомиссии архивоенного вида. Отрываюсь от магазина с отчаянием.

Хрестоматии, Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники.

Штаб в Станиславчике или Кожошкове. Сестра, она служила по Чрезвычайкам, очень русская, нежная и сломанная

красота. Жила со всеми комиссарами, так я думаю, и вдруг — альбом Костромской гимназии, классные дамы, идеальные сердца, Романовский пансион, тетя Маня, коньки.

Снова Лешнюв, и мои хозяева, страшная грязь, налет гостеприимства, уважения к русским и по моей доброте сошел, неприветливо у разоряемых людей.

О лошадях, кормить нечем, худеют, тачанка рассыпается, из-за пустяков, я ненавижу Говинского, какой-то веселый, прожорливый неудачник. Кофе мне уже не дают.

Противник обошел нас, от переправы оттеснил, зловещие слухи о прорыве в расположении 14-й дивизии, скачут ординарцы. К вечеру — в Гржималовку (севернее Чуровице) — разоренная деревня, достали овес, беспрерывный дождь, короткая дорога в штаб для моих туфель непроходима, мучительное путешествие, позиция надвигается, пил великолепный чай, горячо, хозяйка притворилась сначала больной, деревня все время находилась в сфере боев за переправу. Тьма, тревога, поляк шевелится.

К вечеру приехал начдив, великолепная фигура, перчатки, всегда с позиции, ночь в штабе, работа Константина Карловича.

1.8.20. Гржималовка, Лешнюв

Боже, август, скоро умрем, неистребима людская жестокость. Дела на фронте ухудшаются. Выстрелы у самой деревни. Нас вытесняют с переправы. Все уехали, осталось несколько человек штабных, моя тачанка стоит у штаба, я слушаю бой, хорошо мне почему, нас немного, нет обозов, нет

административного штаба, спокойно, легко, огромное самообладание Тимошенки. Книга апатичен, Тимошенко: если не выбьет — расстреляю, передай на словах, все же начдив усмехается. Перед нами дорога, разбухшая от дождя, пулемет вспыхивает в разных местах, невидимое присутствие неприятеля в этом сером и легком небе. Неприятель подошел к деревне. Мы теряем переправу через Стырь. Едем в злополучный Лешнюв, в который раз?

Начдив к 1-й бригаде. В Лешнюве — ужасно, заезжаем на два часа, административный штаб утекает, стена неприятеля вырастает повсюду.

Бой под Лешнювом. Наша пешка в окопах, это замечательно, волынские босые, полуидиотические парни — русская деревня, и они действительно сражаются против поляков, против притеснявших панов. Нет ружей, патроны не подходят, эти мальчики слоняются по облитым зноем окопам, их перемещают с одной опушки на другую. Хата у опушки, мне делает чай услужливый галичанин, лошади стоят в лощинке.

Сходил на батарею, точная, неторопливая, техническая работа.

Под пулеметным обстрелом, визжание пуль, скверное ощущение, пробираемся по окопам, какой-то красноармеец в панике, и, конечно, мы окружены. Говинский был на дороге, хотел бросить лошадей, потом поехал, я нашел его у опушки, тачанка сломана, перипетии, ищу, куда бы сесть, пулеметчики сбрасывают, перевязывают раненого мальчика, нога в воздухе, он рычит, с ним приятель, у которого уби-

ли лошадь, подвязываем тачанку, едем, она скрипит, не вертится. Я чувствую, что Говинский меня погубит, это — судьба, его голый живот, дыры в башмаках, еврейский нос и вечные оправдания. Я пересаживаюсь в экипаж Михаила Карловича, какое облегчение, я дремлю, вечер, душа потрясена, обоз, стоим по дороге к Белавцам, потом мы по дороге, окаймленной лесом, вечер, прохлада, шоссе, закат — катимся к позициям, отвозим мясо Константину Карловичу.

Я жаден и жалок. Части в лесу, они отошли, обычная картина, эскадрон, Бахтуров читает сообщение о III Интернационале, о том, что съехались со всего мира, белая косынка сестры мелькает между деревьями, зачем она здесь? Едем обратно, что такое Михаил Карлович? Говинский удрал, лошадей нет. Ночь, сплю в экипаже рядом с Михаилом Карловичем. Мы под Белавцами.

Описать людей, воздух.

Прошел день, видел смерть, белые дороги, лошадей между деревьями, восход и закат. Главное — буденновцы, кони, передвижения и война, между житом ходят степенные, босые и призрачные галичане.

Ночь на экипаже.

(У леска стоял с тачанкой писарей.)

2.8.20. Белавцы

История с тачанкой. Говинский приближается к местечку, конечно, кузнеца не нашел. Мой скандал с кузнецом, толкнул женщину, визг и слезы. Галичане не хотят починять. Арсенал средств, убеждения, угрозы, просьбы, больше

всего подействовало обещание сахару. Длинная история, один кузнец болен, тащу его к другому, плач, его тащут домой. Мне не хотят стирать белья, никакие меры воздействия не помогают.

Наконец починяют.

Устал. В штабе тревога. Уходим. Противник нажимает, бегу предупредить Говинского, зной, боюсь опоздать, бегу по песку, предупредил, догнал штаб за селом, никто не берет меня, уходят, тоска, еду несколько времени с Барсуковым, двигаемся на Броды.

Мне дают санитарную тачанку 2-го эскадрона, подъезжаем к лесу, стоим с Иваном повозочным. Приезжает Буденный, Ворошилов, будет решительный бой, ни шагу дальше. Дальше разворачиваются все три бригады, говорю с комендантом штаба. Атмосфера начала боя, большое поле, аэропланы, маневры кавалерии на поле, наша конница, вдали разрывы, начался бой, пулеметы, солнце, где-то сходятся, заглушенное «ура», мы с Иваном отходим, опасность смертельная, что я чувствую, это не страх, это пассивность, он, кажется, боится, куда ехать, группа с Корочаевым идет направо, мы почему-то налево, бой кипит, нас догоняют на лошади — раненые, смертельно бледный — братишка, возьми, штаны окрашены кровью, угрожает нам стрелять, если не возьмем, осаживаем, он страшен, куртку Ивана заливает кровь, казак, остановились, буду перевязывать, у того легкая рана, в живот, кость повреждена, везем еще одного, у которого лошадь убили. Описать раненого. Долго плутаем под огнем по полям, ничего не видать, эти равнодушные дороги

и травка, посылаем верховых, выехали на шоссе — куда ехать, Радзивиллов или Броды?

В Радзивиллове должен быть административный штаб и все обозы, по моему мнению, в Броды ехать интереснее, бой идет за Броды. Победило мнение Ивана, одни обозники говорят, что в Бродах — поляки, обозы бегут, Штарм выехал, едем в Радзивиллов. Приезжаем ночью. Все это время ели морковь и горох — сырые, пронзительный голод, грязные, не спали. Я выбрал хату на окраине Радзивиллова. Угадал, нюх выработался. Старик, девушка. Кислое молоко великолепно, съели, готовится чай с молоком, Иван идет за сахаром, пулеметная стрельба, грохот обозов, выскакиваем, лошадь захромала, так уж полагается, убегаем в панике, стреляют по нас, ничего не понимаем, сейчас поймает, мчимся на мост, столпотворение, провалились в болото, дикая паника, валяется убитый, брошенные подводы, снаряды, тачанки. Пробка, ночь, страх, обозы стоят бесконечные, двигаемся, поле, стали, спим, звезды. Во всей этой истории мне больше всего жаль погибшего чая, до странности жаль. Я об этом думаю всю ночь и ненавижу войну.

Какая тревожная жизнь.

3.8.20

Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город переходит из рук в руки. Та же ужасная картина, полуразрушено, город ждет снова. Питпункт, на окраине встречаюсь с Барсуковым. Еду в штаб. Пустынно, мертво, уныло. Зотов спит на стульях, как мертвец. Спят Бородулин и Поллак. Здание

Пражского Банка, обобранное и разодранное, клозеты, эти банковские загородки, зеркальные стекла.

Говорят, что начдив в Клёкотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской. Иван стоит у штаба. Ехать или не ехать. Едем в Клёкотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная сила двигается, бесконечные ряды, фольварк, имение разрушенное, молотилка, локомобиль Клентона, трактор, локомобиль работал, жарко.

Поле сражения, встречаю начдива, где штаб, потеряли Жолнаркевича. Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю, они уходят бледные пешком.

До этого — страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите.

Впечатления больше воспринимаю умом. Начинается бой, мне дают лошадь. Вижу, как строятся колонны, цепи, идут в атаку, жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны, огонь достигает высочайшей силы, в безмолвии происходит рубка. Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива?

Начало моих приключений, двигаюсь с обозами к шоссе, бой усиливается, нашел питпункт, на шоссе обстреляли, свист снарядов, разрывы в 20 шагах, чувство безнадежности, обозы скачут, я прибился к 20-му полку 4-й дивизии, раненые, вздорный командир, нет, говорит, не ранен, ударился, профессионалы, и все поля, солнце, трупы, сижу у кухни, голод, сырой горох, лошадь нечем кормить.

Кухня, разговоры, сидим на траве, полк вдруг выступает, мне нужно к Радзивиллову, полк идет к Лешнюву, и я бессилен, боюсь оторваться. Бесконечное путешествие, пыльные дороги, я пересаживаюсь на телегу, Квазимодо, два ишака, жестокое зрелище — этот горбатый кучер, молчаливый, с лицом темным, как Муромские леса.

Едем, у меня ужасное чувство — я отдаляюсь от дивизии. Теплится надежда — потом можно будет проводить раненого в Радзивиллов, у раненого еврейское бледное лицо.

Въезжаем в лес, обстрел, снаряды в 100 шагах, бесконечное кружение по опушкам.

Песок тяжелый, непролазный. Поэма о лошадях замученных.

Пасека, обыскиваем ульи, четыре хаты в лесу — ничего нет, все обобрано, я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дело, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок, едем дальше, от усталости едва сижу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать, въехали в Конюшков, крадем ячмень, мне говорят — ищите, берите, всё берите — я ищу сестру по деревне, истерика у баб,

забирают через 5 минут после приезда, какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжко от непрекращающихся ужасов, ищу сестру, у меня непреодолимая печаль, похитил кружку молока у командира полка, вырвал поляницу из рук сына крестьянки.

Через 10 минут выезжаем. Вот те и на! Поляки где-то близко. Опять назад, я думаю, что не выдержу, еще и рысью, сначала еду с командиром, потом пристаю к обозам, хочу пересесть на телегу, у всех один ответ — пристали кони, ну, скинь меня и садись сам, сядь, дорогой, только здесь убитые, я смотрю на рядно, под ним убитые.

Приезжаем в поле, там много обозов 4-й дивизии, батарея, опять кухня, ищу сестер, тяжелая ночь, хочу спать, надо кормить лошадь, я лежу, лошади поедают великолепную пшеницу, красноармейцы в пшенице — бледные, совсем мертвые. Лошадь мучает, я гоняюсь за ней, пристал к сестре, спим на тачанке, сестра — старая, лысая, вероятно еврейка, мученица, эта невыносимая брань, повозочный ее сталкивает, лошади путаются, повозочного не разбудишь, он груб и ругается, она говорит — наши герои — ужасные люди. Она укрывает его, они спят обнявшись, несчастная, старая сестра, хорошо бы застрелить возницу, брань, ругань, сестра не от мира сего — засыпаем. Просыпаюсь через два часа — украли уздечку. Отчаяние. Рассвет. Мы в 7 верстах от Радзивиллова. Еду на ура. Несчастная лошадь, все мы несчастные, полк пойдет дальше. Трогаюсь.

За этот день — главное — описать красноармейцев и воздух.

4.8.20

Двигаюсь один к Радзивиллову. Тяжкая дорога. Никого по пути, лошадь пристала, боюсь на каждом шагу встретить поляков. Прошло благополучно, в районе Радзивиллова никаких частей, в местечке — смутно, меня посылают на станцию, опустошенное и совершенно привыкшее к переменам население. Шеко на автомобиле. Я в квартире Буденного. Еврейская семья, барышни, группа из гимназии Бухтеевой, Одесса, сердце замерло.

О счастье, дают какао и хлеб. Новости — новый начдив — Апанасенко, новый наштадив — Шеко. Чудеса.

Приезжает Жолнаркевич с эскадроном, он жалок, Зотов объявляет, что он смещен, пойду торговать на Сухаревку лепешками, что же новая школа, вы, говорит, войска расставлять умеете, в старину умел, теперь без резервов не умею.

У него жар, он говорит то, чего говорить не следовало, перебранка с Шеко, тот сразу поднял тон, начальник штаба приказал вам явиться в штаб, мне сдавать нечего, я не мальчик, чтобы шляться по штабам, оставил эскадрон и уехал. Уезжает старая гвардия, все ломается, вот и нет Константина Карловича.

Еще впечатление — и тяжкое и незабываемое — приезд на белой лошади начдива с ординарцами. Вся штабная сволочь, бегущая с курицами для командарма, относятся покровительственно, хамски, Шеко — высокомерен, спрашивает об операциях, тот объясняет, улыбается, великолепная, статная фигура и отчаяние. Вчерашний бой — блестящий успех 6-й дивизии — 1000 лошадей, 3 полка загнаны в окопы,

противник разгромлен, отброшен, штаб дивизии в Хотине. Чей это успех — Тимошенки или Апанасенки? Тов. Хмельницкий — еврей, жрун, трус, нахал, при командарме — курица, поросенок, кукуруза, его презирают ординарцы, нахальные ординарцы, единственная забота ординарцев — курицы, сало, жрут, жирные, шоферы жрут сало, — все на крылечке перед домом. Лошади есть нечего.

Настроение совсем другое, поляки отступают, Броды хотя ими заняты, снова бьем, вывез Буденный.

Хочу спать, не могу. Перемены в жизни дивизии будут иметь важное значение. Шеко на подводе. Я с эскадроном. Едем на Хотин, опять рысь, 15 верст сделали. Живу у Бахтурова. Он убит, нет начдива, чувствует, что и ему не быть. Дивизия потрясена, бойцы ходят тихие, — нарастает или нет. Наконец-то я поужинал — мясо, мед. Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро. Сплю в клуне, наконец-то покой.

5.8.20. Хотин

День покоя. Ем, шляюсь по залитой солнцем деревне, отдыхаем, обедал, ужинал — есть мед, молоко.

Главное — внутренние перемены, все перевернуто.

Начдива жалко до боли, казачество волнуется, разговоры из-под угла, интересное явление, собираются, шепчутся, Бахтуров подавлен, герой был начдив, теперь командир в комнату не пускает, из 600 — 6000, тяжкое унижение, в лицо бросили — вы предатель, Тимошенко засмеялся, — Апа-

насенко, новая и яркая фигура, некрасив, коряв, страстен, самолюбив, честолюбив, написал воззвание в Ставрополь и на Дон о непорядках тыла, для того, чтобы сообщить в родные места, что он начдив. Тимошенко был легче, веселее, шире и, может быть, хуже. Два человека, не любили они, верно, друг друга. Шеко разворачивается, невероятно корявые приказы, высокомерие. Совсем другая работа штаба. Обозов и административного штаба нету. Лепин поднял голову — он зол, туп и возражает Шеко.

Вечером музыка и пляска — Апанасенко ищет популярности, круг шире, Бахтурову выбирает лошадь из польских, нынче все ездят на польских, великолепные кони, узкогрудые, высокие, английские, рыжие кони, этого нельзя забыть. Апанасенко заставляет проводить лошадей.

Целый день — разговоры об интригах. Письмо в тыл.

Тоска по Одессе.

Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова.

Об ординарцах, связывающих свою судьбу с «господами». Что будет делать Михеев, хромой Сухоруков, все эти Гребушки, Тарасовы, Иван Иванович с Бахтуровым. Все идут следом.

О польских лошадях, об эскадронах, скачущих в пыли на высоких, золотистых, узкогрудых польских конях. Чубы, цепочки, костюмы из ковров.

В болоте завязли 600 коней, несчастные поляки.

6.8.20. Хотин

На том же месте. Приводимся в порядок, куем лошадей, едим, перерыв в операциях.

Моя хозяйка — маленькая, пугливая, хрупкая женщина с измученными и кроткими глазами. Боже, как ее мучают солдаты, это бесконечное варево, крадем мед. Приехал домой хозяин, бомбы с аэроплана угнали у него коней. Старик не ел 5 суток, теперь отправляется по белу свету искать своих коней, эпопея. Старый старик.

Знойный день, густая, белая тишина, душа радуется, кони стоят, им молотят овес, возле них целый день спят казаки, кони отдыхают — это на первом плане.

Изредка мелькает фигура Апанасенки, в отличие от замкнутого Тимошенки, он — свой, он — отец командир.

Утром уезжает Бахтуров, за ним свита, слежу за работой нового военкома, тупой, но обтесавшийся московский рабочий, вот в чем сила — шаблонные, но великие пути, три военкома — обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку, молодого 23-летнего юношу, скромный Ширяев, хитрый Гришин. Сидят в садку, военком выспрашивает, сплетничают, высокопарно говорят о мировой революции, хозяйка отряхивает яблоки, потому что все объели, секретарь военкома, длинный, с звонким голосом ходит, ищет пищу.

В штабе новые веяния — Шеко пишет особенные приказы, высокопарные и трескучие, но короткие и энергичные, подает свои мнения Реввоенсовету, действует по собственной инициативе.

Все грустят о Тимошенко, бунта не будет.

Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде.

Иван Иванович — сидя на скамейке, говорит о днях, когда он тратил по 20 тысяч, по 30 тысяч. У всех есть золото, все набрали в Ростове, перекидывали через седло мешок с деньгами и пошел. Иван Иванович одевал и содержал женщин. Ночь, клуня, душистое сено, но воздух тяжелый, чем-то я придавлен, грустной бездумностью моей жизни.

7.8.20. Берестечко

Теперь вечер, 8. Только что зажглись лампы в местечке. В соседней комнате панихида. Много евреев, заунывные родные напевы, покачиваются, сидят по скамьям, две свечи, неугасимая лампочка на подоконнике. Панихида по внучке хозяина, умершей от испуга после грабежей. Мать плачет, под молитву, рассказывает мне, мы стоим у стола, горе молотит меня вот уже два месяца. Мать показывает карточку, истертую от слез, и все говорят — красавица необычайная, какой-то командир бегал за яром, стук ночью, поднимали с кровати, рылись поляки, потом казаки, беспрерывная рвота, истекла. И главное у евреев — красавица, такой в местечке не было.

Памятный день. Утром — из Хотина в Берестечко. Еду с секретарем военкома Ивановым, длинный, прожорливый парень без стержня, оборванец — и вот, муж певицы Комаровой, мы концертировали, я ее выпишу. Русский менаде.

Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовищно.

Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под Берестечком, казачьи могилы. И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — хлоп против пана.

Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вонючие, всему этому 100–200 лет, население крепче, чем в других местах, главное — архитектура, белые водянисто-голубые домики, улички, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить — ценное еврейство, богатые хохлы, ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан — кожевников, торговля с Австрией, контрабанда.

Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, как будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией, местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили, аптекарю раскаленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера — идиотизм. Поляки сошли с ума, они губят себя.

Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские. Ксендз Тузинкевич — я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор

книг, много латыни, издания 1860 года, вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X, хорошее лицо, изумительный портрет Сенкевича — вот он, экстракт нации. Над всем этим воняет душонка Сухина. Как это ново для меня — книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича, и я ее поймал. Лепин трогательно вдруг играет на пианино. Вообще — он иногда поет по-латышски. Вспомнить его босые ножки — умора. Это очень смешное существо.

Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Служитель трепещет, как птица, корчится, мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги.

Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе.

Описать эту пару. Графский старинный польский дом, наверное, больше 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 года, notre petit héros acheve 7 semaines*. Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетие, мать — графиня, рояль Стейнвей, парк, пруд.

Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают Ревком, евреи наматывают бороды, еврейки слушают о российском рае, международном положении, о восстании в Индии.

Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с чахлым мешуресом, неожиданное красноречие, о чем он говорил?

8.8.20. Берестечко

Вживаюсь в местечко. Здесь были ярмарки. Крестьяне продают груши. Им платят давно не существующими деньгами. Здесь жизнь била ключом — евреи вывозили хлеб в Австрию, контрабанда товаров и людей, близость заграницы.

Необыкновенные сараи, подземелья.

---

* Нашему маленькому герою исполняется 7 недель (*фр*.).

Живу у содержательницы постоялого двора, рыжая тощая сволочь. Ильченко купил огурцов, читает «Журнал для всех» и рассуждает об экономической политике, во всем виноваты евреи, тупое, славянское существо, при разграблении Ростова набившее карман. Какие-то приемыши, недавно умершая. История с аптекарем, которому поляки запускали под ногти булавки, обезумевшие люди.

Жаркий день, жители слоняются, начинают оживать, будет торговля.

Синагога, Торы, 36 лет тому назад построил ремесленник из Кременца, ему платили 50 рублей в месяц, золотые павлины, скрещенные руки, старинные Торы, во всех шамесах нет никакого энтузиазма, изжеванные старики, мосты на Берестечко, как всколыхнули, поляки придавали всему этому давно утраченный колорит. Старичок, у которого остановился Корочаев, разжалованный начдив, со своим оруженосцем-евреем. Корочаев был предчека где-то в Астрахани, поковырять его, оттуда посыплется. Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодушие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейских лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь, барышни в белых чулках, капоты, как мало толстяков.

Ведем разведку на Львов. Апанасенко пишет послания Ставропольскому Исполкому, будем рубить головы в тылу, он восхищен. Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом — мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14-ю дивизию. Приближаемся к Радзихову. Газеты московские от 29/VII. Открытие II конгресса

III Интернационала, наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым фактором.

Надо приглядеться к Апанасенко. Атаман.

Панихида тихого старика по внучке.

Вечер, спектакль в графском саду, любители из Берестечка, денщик болван, барышни из Берестечка, затихает, здесь бы пожить, узнать.

9.8.20. Лашков

Переезд из Берестечко в Лашков, Галиция. Экипаж начдива, ординарец начдива Лёвка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, как он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село. «Зарезать» не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нему, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал, хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет? Нет, не думал. А надо было подумать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну да м. и., а теперь, Степан, будем тебя убивать. Оставили чуть теплого. Другой рассказ о сестре милосердия Шурке. Ночь, бой, полки строятся, Лёвка в фаэтоне, сожитель Шуркин тяжело ранен, отдает Лёвке лошадь, они отвозят раненого, возвращаются к бою. Ах, Шура, раз жить, раз помирать. Ну да ладно. Она была в заведении в Ростове, скачет в строю на лошади, может отпустить пятнадцать. А теперь, Шурка, поедем, отступаем,

лошади запутались в проволоке, проскакал 4 версты, село, сидит, рубит проволоку, проходит полк, Шура выезжает из рядов, Лёвка готовит ужинать, жрать охота, поужинали, поговорили, идем, Шура, еще разок. Ну ладно. А где?

Ускакала за полком, пошел спать. Если жена приедет — убью.

Лашков — зеленое, солнечное, тихое, богатое галицийское село. Живу у дьякона. Жена только что родила.

Придавленные люди. Чистая, новая хата, а в хате ничего. Рядом типичные галицийские евреи. Думают — не еврей ли? Рассказ — ограбили, обрубил голову двум курицам, нашел вещи в клуне, выкопал из-под земли, согнал всех в хату, обычная история, запомнить мальчика с бакенбардами. Рассказывают мне, что главный раввин живет в Бельзе, поистребили раввинов.

Отдыхаем, в моем палисаднике 1-й эскадрон. Ночь, у меня на столе лампочка, тихо фыркают лошади, здесь все кубанцы, вместе едят, спят, варят, великолепное, молчаливое содружество. Все они мужиковаты, по вечерам полными голосами поют песни, похожие на церковные, преданность коням, небольшие кучки — седло, уздечка, расписная сабля, шинель, я сплю, окруженный ими.

Сплю днем на поле. Операций нет, какая это прекрасная и нужная вещь — отдых. Кавалерия, кони отходят от этой нечеловеческой работы, люди отходят от жестокости, вместе живут, поют песни тихими голосами, что-то друг дружке рассказывают.

Штаб в школе. Начдив у священника.

10.8.20. Лашков

Отдых продолжается. Разведка на Радзихов, Соколовку, Стоянов, всё к Львову. Получено известие, что взят Александровск, в международном положении гигантские осложнения, неужели будем воевать со всем светом?

Пожар в селе. Горит клуня священника. Две лошади, бившиеся что есть мочи, сгорели. Лошадь из огня не выведешь. Две коровы удрали, у одной потрескалась кожа, из трещин — кровь, трогательно и жалко.

Дым обволакивает все село, яркое пламя, черные пухлые клубы дыма, масса дерева, жарко лицу, все вещи из поповского дома, из церкви выбрасывают в палисадник. Апанасенко в красном казакине, в черной бурке, гладко выбритое лицо — страшное явление, атаман.

Наши казаки, тяжкое зрелище, тащут с заднего крыльца, глаза горят, у всех неловкость, стеснение, неискоренима эта так называемая привычка. Все хоругви, старинные Четьи-Минеи, иконы вынесены, странные раскрашенные бело-розовые, бело-голубые фигурки, уродливые, плосколицые, китайские или буддийские, масса бумажных цветов, загорится ли церковь, крестьянки в молчании ломают руки, население, испуганное и молчаливое, бегает босичком, каждый садится у своей хаты с ведром. Они апатичны, прибиты, нечувствительны — необычайно, они бросились бы даже тушить. С воровством удалось совладать — солдаты, как хищные, затрудненные звери ходят вокруг батюшкиных чемоданов, говорят, там золото, у попа можно взять, портрет графа Андрея Шептицкого, митрополита Галицкого. Мужественный

магнат с черным перстнем на большой и породистой руке. У старого священника, 35 лет прослужившего в Лашкове, трепещет все время нижняя губа, он рассказывает мне о Шептицком, тот не «выхован» в польском духе, из русинских вельмож, «граф на Шептицах», потом ушли к полякам, брат — главнокомандующий польскими войсками, Андрей вернулся к русинам. Своя давняя культура, тихая и прочная. Хороший интеллигентный батюшка, припасший мучку, курицу, хочет поговорить об университетах, о русинах, несчастный, у него живет Апанасенко в красном казакине.

Ночью — необыкновенное зрелище, ярко догорает шоссе, моя комната освещена, я работаю, горит лампочка, покой, душевно поют кубанцы, их тонкие фигуры у костров, песни совсем украинские, лошади ложатся спать. Иду к начдиву. Мне о нем рассказывает Винокуров — партизан, атаман, бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание, идеал — Думенко, сочащаяся рана, надо подчиняться организации, смертельная ненависть к аристократии, попам и, главное, к интеллигенции, которую он в армии не переваривает. Институт он кончит — Апанасенко, чем не времена Богдана Хмельницкого?

Глубокая ночь. 4 часа.

11.8.20. Лашков

День работы, сидение в штабе, пишу до усталости, день покоя. К вечеру дождь. У меня в комнате ночуют кубанцы, странно — смирные и воинственные, домовитые и немолодые крестьяне ясного украинского происхождения.

О кубанцах. Содружество, всегда своей компанией, под окном ночью и днем фыркают кони, великолепный запах навоза, солнца, спящих казаков, два раза в день варят огромные ведра похлебки и мясо. Ночью кубанцы в гостях. Беспрерывный дождь, они сушатся и ужинают у меня в комнате. Религиозный кубанец в мягкой шляпе, бледное лицо, светлые усы. Они истовы, дружественны, дики, но как-то более привлекательны, домовиты, меньше ругатели, спокойнее, чем донцы и ставропольцы.

Сестра приехала, как все ясно, это надо описать, она стерта, хочет уезжать, там все были — комендант, эти по крайней мере говорят, Яковлев, и ужас, Гусев. Она жалка, хочет уходить, грустна, говорит непонятно, хочет о чем-то со мною поговорить и смотрит на меня доверчивыми глазами, мол, я друг, а остальные, остальные слезни (?). Как быстро уничтожили человека, принизили, сделали некрасивым. Она наивна, глупа, восприимчива даже к революционной фразе, и чудачка много говорит о революции, служила в Культпросвете ЧК, сколько мужских влияний.

Интервью с Апанасенко. Это очень интересно. Это надо запомнить. Его тупое, страшное лицо, крепкая сбитая фигура, как у Уточкина.

Его ординарцы (Лёвка), статные золотистые кони, прихлебатели, экипажи, приемыш Володя — маленький казак со старческим лицом, ругается, как большой.

Апанасенко — жаден к славе, вот он — новый класс. Несмотря на все оперативные дела — отрывается и каждый раз возвращается снова, организатор отрядов, просто про-

тив офицерства, 4 Георгия, службист, унтер-офицер, прапорщик при Керенском, председатель полкового комитета, срывал погоны у офицеров, длинные месяцы в астраханских степях, непререкаемый авторитет, профессионал военный.

Об атаманах, их там много было, доставали пулеметы, дрались со Шкуро и Мамонтовым, влились в Красную Армию, героическая эпопея. Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть Апанасенки к богатым, к интеллигентам, неугасимая ненависть.

Ночь с кубанцами, дождь, душно, какая-то странная чесотка у меня.

12.8.20. Лашков

Четвертый день в Лашкове. Необычайно забитая галицийская деревня. Жили лучше русских, хорошие дома, много добропорядочности, уважение к священникам, честны, но обескровлены, сваренный ребенок у моих хозяев, как он родился и зачем он родился, в матери ни кровинки, где-то что-то беспрерывно скрывают, где-то хрюкают свиньи, где-то, вероятно, спрятано сукно.

Свободный день, хорошее дело — корреспондентство, ежели его не запускать.

Надо писать в газету и жизнеописание Апанасенки.

Дивизия отдыхает — какая-то тишина на сердце и люди лучше — песни, костры, огонь в ночи, шутки, счастливые, апатичные кони, кто-то читает газету, походка вразвалку,

куют лошадей. Как все это выглядит. Уезжает в отпуск Соколов, даю ему письмо домой.

Пишу — все о трубках, о давно забытых вещах, Бог с ней, с революцией, туда и надо устремиться.

Не забыть бы священника в Лашкове, плохо бритый, добрый, образованный, может быть, корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка, дом его, хорошо жил, смешливые гравюрки.

Трения военкома с начдивом, тот встал и вышел с Книгой в то время, когда Яковлев, начподив, делал доклад, Апанасенко пришел к военкому.

Винокуров — типичный военком, гнет свою линию, хочет исправлять 6-ю дивизию, борьба с партизанщиной, тяжелодум, морит меня речами, иногда груб, всем на «ты».

13.8.20. Нивица

Ночью приказ — двигаться на Буск — 35 верст восточнее Львова.

Утром выступаем. Все три бригады сосредоточены в одном месте. Я на Мишиной лошади, научилась бежать, но шагом не идет, трусит ужасно. Целый день на коне с начдивом. Хутор Порады. В лесу 4 неприятельских аэроплана, пальба залпами. Три комбрига — Колесников, Корочаев, Книга. Василий Иванович хитрит, пошел на Топоров в обход (Чаныз), нигде не встретил неприятеля. Мы на хуторе Порады, разбитые хаты, извлекаю из люка старуху, голубцы. Вместе с наблюдателем на батарее. Наша атака у леска.

Беда — болото, каналы, негде развернуться кавалерии, атаки в пешем строю, вялость, падает ли мораль? Упорный бой и все же легкий (по сравнению с империалистической бойней) под Топоровом, берут с трех сторон, не могут взять, ураганный огонь нашей артиллерии из двух батарей.

Ночь. Все атаки не удались. На ночь — штаб переезжает в Нивица. Густой туман, пронзительный холод, лошадь, дорога лесами, костры и свечи, сестры на тачанках, тяжелый путь после дня тревог и конечной неудачи.

Целый день по полям и лесам. Интереснее всех — начдив, усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за все, страстность, если бы он там был, все было бы хорошо.

Что запомнилось? Езда ночью, визг баб в Порадах, когда у них начали (прервал писанье, в 100 шагах разорвались две бомбы, брошенные с аэроплана. Мы у опушки леса с запада ст. Майданы) брать белье, наша атака, что-то невидное, нестрашное издали, какие цепочки, всадники ездят по лугу, издалека все это совершается неизвестно для чего, все это не страшно.

Когда вплотную подошли к местечку, началась горячка, момент атаки, момент, когда берут город, тревожная, лихорадочная, возрастающая, доводящая до отчаяния безнадежности трескотня пулеметов, беспрерывные разрывы и над всем этим — тишина сверху и ничего не видно.

Работа штаба Апанасенко — каждый час донесения командарму, выслуживается.

Озябшие, усталые приехали в Нивицу. Теплая кухня. Школа.

Пленительная жена учителя, националистка, какое-то внутреннее веселье в ней, расспрашивает, варит нам чай, защищает свою мову, ваша мова хорошая и наша мова, и все смех в глазах. И это в Галиции, хорошо, давно я этого не слышал. Сплю в классе, на соломе рядом с Винокуровым.

Насморк.

14.8.20

Центр операций — взятие Буска и переправа через Буг. Целый день атака на Топоров, нет отставили. Опять нерешительный день. Опушка леса у ст. Майданы. Противником взят Лопатин.

К вечеру выбили. Снова Нивица. Ночевка у старухи, двор вместе со штабом.

15.8.20

Утром в Топорове. Бои у Буска. Штаб в Буске. Форсировать Буг. Пожар на той стороне. Буденный в Буске.

Ночевка в Яблоновке с Винокуровым.

16.8.20

К Ракобутам, бригада переправилась.

Еду опрашивать пленных.

Снова в Яблоновке. Выступаем на Н. Милатин, ст. Милатин, паника, ночевка в страннориимнице.

17.8.20

Бои у железной дороги, у Лисок. Рубка пленных.

Ночевка в Задвурдзе.

18.8.20

Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб, проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия двигается к Буску, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком, Сухоруков, держащийся при всех режимах, ж — му, ему подпевает Суслов, всякие Лёвки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеятельность все усиливается, атака аэропланов, беспрерывно курсируют по 5–6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. В лесу. Интрига с сестрой. Апанасенко сделал ей с места в карьер гнусное предложение, она, как говорят, ночевала, теперь

говорит о нем с омерзением, но ей нравится Шеко, а она нравится военкомдиву, который маскирует свой интерес к ней тем, что она, мол, беззащитна, нет средств передвижения, нет защитников. Она рассказывает, как за ней ухаживал Константин Карлович, кормил, запрещал писать ей письма, а писали ей бесконечно. Яковлев ей страшно нравился, начальник регистрационного отдела, белокурый мальчик в красной фуражке, просил руку и сердце и рыдал, как дитя. Была еще какая-то история, но я об ней ничего не узнал. Эпопея с сестрой — и главное, о ней много говорят и ее все презирают, собственный кучер не разговаривает с ней, ее ботиночки, переднички, она оделяет, книжки Бебеля.

Женщина и социализм.

О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б…., но товарищи, и б…. потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем, чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащут сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи и у населения.

Нервность Апанасенки, его ругня, есть ли это сила воли?

Ночь снова в Нивице, сплю где-то на соломе, потому что ничего не помню, все на мне порвано, тело болит, сто верст на лошади.

Ночую с Винокуровым. Его отношения к Иванову. Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом. Военком с ним невыносимо груб, беспрерывно матом, ко всему придирается,

что же ты, и мат, не знаешь, не сделал, собирай манатки, выгоню я тебя.

Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами.

За ночь 2-я бригада ночным налетом взяла Топоров. Незабываемое утро. Мы мчимся на рысях. Страшное, жуткое местечко, евреи у дверей как трупы, я думаю, что еще с вами будет, черные бороды, согбенные спины, разрушенные дома, тут же <нрзб>, остатки немецкой благоустроенности, какое-то невыразимое привычное и горячее еврейское горе. Тут же монастырь. Апанасенко сияет. Проходит вторая бригада. Чубы, костюмы из ковров, красные кисеты, короткие карабины, начальники на статных лошадях, буденновская бригада. Смотр, оркестры, здравствуйте, сыны революции, Апанасенко сияет.

Из Топорова — леса, дороги, штаб у дороги, ординарцы, комбриги, мы влетаем на рысях в Буск, в его восточную половину. Какое очаровательное место (18-го летит аэроплан, сейчас будет бросать бомбы), чистые еврейки, сады, полные груш и слив, сияющий полдень, занавески, в домах остатки мещанской, чистой и, может быть, честной простоты, зеркала, мы у толстой галичанки, вдовы учителя, широкие диваны, много слив, усталость невыносимая от перенапряжения (снаряд пролетел, не разорвался), не мог уснуть, лежал у стены рядом с лошадьми и вспоминал пыль дороги и ужас обозной толкотни, пыль — величественное явление нашей войны.

Бой в Буске. Он на той стороне моста. Наши раненые. Красота — там горит местечко. Еду к переправе — острое

ощущение боя, надо пробегать кусок дороги, потому что он обстреливает, ночь, пожар сияет, лошади стоят под хатами, идет совещание с Буденным, выходит Реввоенсовет, чувство опасности, Буск в лоб не взяли, прощаемся с толстой галичанкой и едем в Яблоновку глубокой ночью, кони едва идут, ночуем в дыре, на соломе, начдив уехал, дальше у меня и военкома нету сил.

1-я бригада нашла брод и переправилась через Буг у Поборжаны. Утром с Винокуровым на переправу. Вот он Буг, мелкая речушка, штаб на холме, я измучен дорогой, меня отправляют обратно в Яблоновку допрашивать пленных. Беда. Описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать надо далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

Допрос пленных в Яблоновке. Люди в нижнем белье, есть евреи, белокурые полячки, истомленные, интеллигентный паренек, тупая ненависть к ним, залитое кровью белье раненого, воды не дают, один толстоморденький тычет мне документы. Счастливцы — думаю я, — как вы ушли. Они окружают меня, они рады звуку моего благожелательного голоса, несчастная пыль, какая разница между казаками и ими, жила тонка.

Из Яблоновки еду обратно на тачанке в штаб. Опять переправа, бесконечные переправляющиеся обозы (они не ждут ни минуты, вслед за наступающими частями) грузнут в реке, рвутся постромки, пыль душит, галицийские деревни, мне дают молоко, в одной деревне обед, только что оттуда ушли поляки, все спокойно, деревня замерла, зной, полуденная тишина, в деревне никого, изумительно то, что здесь такая

ничем не возмутимая тишина, свет, покой — как будто фронта и в 100 верстах нету. Церкви в деревнях.

Дальше неприятель. Два голых зарезанных поляка с маленькими лицами порезанными сверкают во ржи на солнце.

Возвращаемся в Яблоновку, чай у Лепина, грязь, Черкашин унижает его и хочет бросить, если присмотреться, лицо у Черкашина страшное, в его прямой, высокой как палка фигуре угадывается мужик — и пьяница, и вор, и хитрец.

Лепин — грязен, туп, обидчив, непонятен.

Длинный нескончаемый рассказ красивого Базкунова, отец, Нижний Новгород, заведующий химотделом, Красная Армия, деникинский плен, биография русского юноши, отец — купец, был изобретателем, торговал с ресторанами московскими. В течение всего пути толковал с ним. Это мы едем на Милатин, по дороге — сливы. В ст. Милатине церковь, квартира ксендза, ксендз в роскошной квартире — это незабываемо, — он ежеминутно жмет мне руку, отправляется хоронить мертвого поляка, приседает, спрашивает — хороший ли начальник, лицо типично иезуитское, бритое, серые глаза бегают и как это хорошо, плачущая полька, племянница, просящая, чтобы ей вернули телку, слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски. Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота, иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться. Ждем решения — где остаться — в старом или новом Милатине. Ночь. Паника. Какие-то обозы, где-то поляки прорвались, на дороге столпотворение вавилонское,

обозы в три ряда, я в Милатинской школе, две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные галичанки, патриотки, своя культура, спальня, может быть, папильотки, в этом грохочущем, воюющем Милатине, за стенами обозы, пушки, отцы командиры рассказывают о подвигах, оранжевая пыль, клубы, монастырь ими заверчен. Сестры угощают меня папиросами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре.

Стук в дверь. Комендант зовет. Испуг. Едем в новый Милатин. *Н. Милатин.* С военкомом в странноприимнице, какое-то подворье, сараи, ночь, своды, прислужница ксендза, мрачно, грязно, мириады мух, усталость ни с чем не сравнимая, усталость фронта.

Рассвет, выезжаем, должны прорвать железную дорогу (все это происходит 17/VIII), железную дорогу Броды-Львов.

Мой первый бой, видел атаку, собираются у кустов, к Апанасенке ездят комбриги — осторожный Книга, хитрит, приезжает, забросает словами, тычут пальцами в бугры — по-под лесом, по-над лощиной, открыли неприятеля, полки несутся в атаку, шашки на солнце, бледные командиры, твердые ноги Апанасенко, ура.

Что было? Поле, пыль, штаб у равнины, неистово ругающийся Апанасенко, комбриг — уничтожить эту сволочь в ... бандяги.

Настроение перед боем, голод, жара, скачут в атаку, сестры.

Гремит ура, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, «мекая», ну, да, Шеко воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление.

Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого «вроде» прапорщика, предательски убитого.

Впереди — вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побоище. Ездим с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился — рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся, как следует, у Матусевича убили лошадь, он со страшным, грязным лицом бежит, ищет лошадь. Ад. Как мы несем свободу, ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают, Апанасенко — не трать патронов, зарежь. Апанасенко говорит всегда — сестру зарезать, поляков зарезать.

Ночуем в Задвурдзе, плохая квартира, я у Шеко, хорошая пища, беспрерывные бои, я веду боевой образ жизни, совершенно измучен, мы стоим в лесах, кушать целый день нечего, приезжает экипаж Шеко, подвозит, часто на наблюдательном пункте, работа батарей, опушки, лощины, пулеметы косят, поляки главным образом защищаются аэропланами, они становятся грозными, описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета, паника в обозах, нервирует, беспрерывно планируют, скрываемся от них. Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-Ле-Ро во Львове, наши странствия по бригадам, Книга только в обход, Колесников в лоб, едем с Шеко в разведку, беспрерывные леса, смертельная опасность, на горках, перед атакой пули жужжат вокруг, жалкое лицо Сухорукова с саблей, мотаюсь за штабом, мы ждем донесений, а они двигаются, делают обходы.

Бои за Баршовице. После дня колебаний к вечеру поляки колоннами пробиваются к Львову. Апанасенко увидел и сошел с ума, он трепещет, бригады действуют всем, хотя имеют дело с отступающими, и бригады вытягиваются нескончаемыми лентами, в атаку бросают 3 кавбригады, Апанасенко торжествует, хмыкает, пускает нового комбрига 3 Литовченко, взамен раненого Колесникова, видишь, вот они, иди и уничтожь, они бегут, корректирует действия артиллерии, вмешивается в приказания комбатарей, лихорадочное ожидание, думали повторить историю под Задвурдзе, не вышло. Болото с одной стороны, губительный огонь с другой. Движе-

ние на Остров, 6-я кавдивизия должна взять Львов с юго-восточной стороны.

Колоссальные потери в комсоставе: ранен тяжело Корочаев, убит его помощник — еврей убит, начальник 34-го полка ранен, весь комиссарский состав 31-го полка выбыл из строя, ранены все наштабриги, буденновские начальники впереди.

Раненые ползут на тачанках. Так мы берем Львов, донесения командарму пишутся на траве, бригады скачут, приказы ночью, снова леса, жужжат пули, нас сгоняет с места на место артогонь, тоскливая боязнь аэропланов, спеши тебя, будет разрыв, во рту скверное ощущение и бежишь. Лошадей нечем кормить.

Я понял — что такое лошадь для казака и кавалериста.

Спешенные всадники на пыльных горячих дорогах, седла в руках, спят как убитые на чужих подводах, везде гниют лошади, разговоры только о лошадях, обычай мены, азарт, лошади мученики, лошади страдальцы, об них — эпопея, сам проникся этим чувством — каждый переход больно за лошадь.

Визиты Апанасенко со свитой к Буденному. Буденный и Ворошилов на фольварке, сидят у стола. Рапорт Апанасенко, вытянувшись. Неудача особого полка — проектировали налет на Львов, вышли, в особом полку сторожевое охранение, как всегда, спало, его сняли, поляки подкатили пулемет на 100 шагов, изловили коней, поранили половину полка.

Праздник Спаса — 19 августа — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились, Сидоренко или Егор рубят шашкой

гусей на доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых (лугах), население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое, странное, изумленное и совсем согнутое.

В этом празднике есть что-то тихое и придавленное.

Униатский священник в Баршовице. Разрушенный, испоганенный сад, здесь стоял штаб Буденного, и сломанный, сожженный улей, это ужасный варварский обычай — вспоминаю разломанные рамки, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья, их тревожные рои.

Священник объясняет мне разницу между униатством и православием. Шептицкий великий человек, ходит в парусиновой рясе. Толстенький человек, черное, пухлое лицо, бритые щеки, блестящие глазки с ячменем.

Продвижение к Львову. Батареи тянутся все ближе. Малоудачный бой под Островом, но все же поляки уходят. Сведения об обороне Львова — профессора, женщины, подростки. Апанасенко будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства.

Прошла неделя боев — 21 августа наши части в 4-х верстах у Львова.

Приказ — всей Конармии перейти в распоряжение запфронта. Нас двигают на север — к Люблину. Там наступление. Снимают армию, стоящую в 4-х верстах от города, которого добивались столько времени. Нас заменит 14-я армия. Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией? 45-верстный переход из Баршовице в Адамы будет

мне памятен всю жизнь. Я на своей пегой лошаденке, Шеко в экипаже, зной и пыль, пыль из Апокалипсиса, удушливые облака, бесконечные обозы, идут все бригады, облака пыли, от которых нет спасения, страшно задыхаешься, кругом грай, движение, уезжаю с эскадроном по полям, теряем Шеко, начинается самое страшное, езда на моем непоспевающем коньке, бесконечно едем и все рысью, я выматываюсь, эскадрон хочет обогнать обозы, обгоняем, боюсь отстать, лошадь идет как пух, по инерции, идут все бригады, вся артиллерия, оставили для заслона по одному полку, которые должны присоединиться к дивизии с наступлением темноты. Проезжаем ночью через мертвый, тихий Буск. Что особенного в галицийских городах? Смешение грязного и тяжелого Востока (Византии и евреев) с немецким пивным Западом. От Буска 15 км. Я не выдержу. Меняюсь лошадьми. Оказывается, нет покрышки на седле. Ехать мучительно. Каждый раз я принимаю другую позу. Привал в Козлове. Темная изба, хлеб с молоком. Какой-то крестьянин, мягкий и приветливый человек, был военнопленным в Одессе, я лежу на лавке, заснуть нельзя, на мне чужой френч, лошади во тьме, в избе душно, дети на полу. Приехали в Адамы в 4 часа ночи. Шеко спит. Я ставлю где-то лошадь, сено есть, и ложусь спать.

21.8.20. Адамы

Испуганные русины. Солнце. Хорошо. Я болен. Отдых. Днем всё в клуне, сплю, к вечеру лучше, ломит голова, болит. Я у Шеко живу. Холуй наштадива, Егор. Едим хорошо.

Как мы добываем пищу. Воробьев принял 2-й эскадрон. Солдаты довольны. В Польше, куда мы идем, можно не стесняться, с галичанами, ни в чем не повинными, надо было осторожнее, отдыхаю, не сижу на седле.

Разговор с комартдивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы.

Это просто средство, которым не брезгует партия.

Два одессита — Мануйлов и Богуславский, опрвоенком авиации, Париж, Лондон, красивый еврей, болтун, статья в европейском журнале, помнаштадив, евреи в Конармии, я ввожу их в корень. Одет во френч — излишки одесской буржуазии, тяжкие сведения об Одессе. Душат. Что отец? Неужели все отобрали? Надо подумать о доме.

Прихлебательствую.

Апанасенко написал письмо польским офицерам. Бандяги, прекратите войну, сдайтесь, а то всех порубим, паны. Письмо Апанасенки на Дон, Ставрополь, там чинят затруднения бойцам, сыны революции, мы герои, мы неустрашимые, идем вперед.

Описание отдыха эскадрона, визг свиней, тащут курей, агенты, туши на площади. Стирают белье, молотят овес, скачут со снопами, лошади, помахивая ушами, жрут овес. Лошадь это всё. Имена: Степан, Миша, братишка, старуха. Лошадь — спаситель, это чувствует каждую минуту, однако избить может нечеловечески. За моей лошадью никто не ухаживает. Слабо ухаживают.

22.8.20. Адамы

У Мануйлова — помнаштадив — болит живот. Конечно. Служил у Муравьева, чрезвычайка, что-то военно-следственное, буржуй, женщины, Париж, авиация, что-то с репутацией, и он коммунист. Секретарь Богуславский — испуганно молчит и ест.

Спокойный день. Движение дальше на север.

Живу с Шеко. Ничего не могу делать. Устал, разбит. Сплю и ем. Как мы едим. Система. Каптёры, фуражиры, ничего не дают. Прибытие красноармейцев в деревню, обшаривают, варят, всю ночь трещат печи, страдают хозяйские дочки, визг свиней, к военкому с квитанциями. Жалкие галичане.

Эпопея — как мы едим. Хорошо — свиньи, куры, гуси. «Барахольщики», «молошники» те, которые отстают.

23–24.8.20. Витков

Переезд в Витков на подводе. Институт обывательских подвод, несчастные обыватели, их мотают по две-три недели, отпускают, дают пропуск, другие солдаты перехватывают, снова мотают. Случай — при нас приехал мальчик из обоза. Ночь. Радость матери.

Идем в район Красностав — Люблин. Взяли армию, находившуюся в 4-х верстах от Львова. Кавалерия не могла взять.

Дорога в Витков. Солнце. Галицийские дороги, нескончаемые обозы, заводные лошади, разрушенная Галиция, евреи в местечках, уцелевшая ферма где-нибудь, чешская, предположим, налет на неспелые яблоки, на пасеки.

О пасеках подробно в другой раз.

В дороге, на телеге, думаю, тоскую о судьбах революции.

Местечко особенное, построенное после разрушения по одному плану, белые домики, деревянные высокие крыши, тоска.

Живем с помнаштадивами, Мануйлов ничего не понимает в штабном деле, муки с лошадьми, никто не дает, едем на обывательских подводах, у Богуславского сиреневые кальсоны, в Одессе успех у девочек.

Солдаты просят спектакля. Их кормят — «Денщик подвел».

Ночь наштадива — где 33-й полк, где пошла 2-я бригада, телефон, армприказ комбригу 1, 2, 3!

Дежурные ординарцы. Устройство эскадронов, командиры эскадронов — Матусевич и бывший комендант Воробьев, неизменно веселый и, кажется, глупый человек. Ночь наштадива — Вас просят к начдиву.

25.8.20. Сокаль

Наконец город. Проезжаем местечко Тартакув, евреи, развалины, чистота еврейского типа, раса, лавчонки.

Я все еще болен, не могу опомниться от львовских боев. Какой спертый воздух в этих местечках. В Сокале была пехота, город нетронут, наштадив у евреев. Книги, я увидел книги. Я у галичанки, богатой к тому же, едим здорово, курицу в сметане.

Еду на лошади в центр города, чисто, красивые здания, все загажено войной, остатки чистоты и своеобразия.

Революционный комитет. Реквизиции и конфискации. Любопытно: крестьянство не трогают совершенно. Все земли в его распоряжении. Крестьянство в стороне.

Объявления революционного комитета.

Сын хозяина — сионист и ein angesprochener Nationalist*. Обычная еврейская жизнь. Они тяготеют к Вене, к Берлину, племянник, молодой юноша, занимается философией и хочет поступить в университет. Едим масло и шоколад. Конфеты.

У Мануйлова трения с наштадивом. Шеко посылает его к...

У меня самолюбие, ему не дают спать, нет лошади, вот тебе Конармия, здесь не отдохнешь. Книги — polnische, juden**.

Вечером — начдив в новой куртке, упитанный, в разноцветных штанах, красный и тупой, развлекается — музыка ночью, дождь разогнал. Идет дождь, мучительный галицийский дождь, сыпет и сыпет, бесконечно, безнадежно.

Что делают в городе наши солдаты? Темные слухи.

Богуславский изменил Мануйлову. Богуславский раб.

26.8.20. Сокаль

Осмотр города с молодым сионистом. Синагоги — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет назад, бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет тому назад, те же фигурки в капотах, двигаются, размахивают руками, воют. Это партия ортодоксов — они за Белзского

---

* Речистый националист (*нем.*).

** Польские, еврейские (*нем.*).

раввина, знаменитый Белзский раввин, удравший в Вену. Умеренные за Гусятинского раввина. Их синагога. Красота алтаря, сделанного каким-то ремесленником, великолепие зеленоватых люстр, изъеденные столики, Белзская синагога — видение старины. Евреи просят воздействовать, чтобы их не разоряли, забирают пищу и товары.

Жиды всё прячут. Сапожник, сокальский сапожник, пролетарий. Фигура подмастерья, рыжий хасид — сапожник.

Сапожник ждал Советскую власть — он видит жидоедов и грабителей, и не будет заработку, он потрясен и смотрит недоверчиво. Неразбериха с деньгами. Собственно говоря, мы ничего не платим, 15–20 рублей. Еврейский квартал. Неописуемая бедность, грязь, замкнутость гетто. Лавчонки, все открыты, мел и смола, солдаты рыщут, ругают жидов, шляются без толку, заходят в квартиры, залезают под стойки, жадные глаза, дрожащие руки, необыкновенная армия.

Организованное ограбление писчебумажной лавки, хозяин в слезах, всё рвут, какие-то требования, дочка с западно-европейской выдержкой, но жалкая и красная, отпускает, получает какие-то деньги и магазинной своей вежливостью хочет доказать, что все идет как следует, только слишком много покупателей. Хозяйка от отчаяния ничего не соображает.

Ночью будет грабеж города — это все знают.

Вечером музыка — начдив развлекается. Утром он писал письма на Дон и Ставрополь. Фронту невмоготу выносить безобразия тыла. Вот пристал!

Холуи начдива водят взад и вперед статных коней с нагрудниками и нахвостниками.

Военком и сестра. Русский человек — хитрый мужичок, грубый, иногда наглый и путаный. Он о сестре высокого мнения, выщупывает меня, выспрашивает, он влюблен.

Сестра идет прощаться к начдиву, это после всего, что было. С ней спали все. Хам Суслов в смежной комнате — начдив занят, чистит револьвер.

Получаю сапоги и белье. Сухоруков получал, сам распределял, это обер-холуй, описать.

Разговор с племянником, который хочет в университет.

Сокаль — маклера и ремесленники, коммунизм, говорят мне, вряд ли здесь привьется.

Какие раздерганные, замученные люди.

Несчастная Галиция, несчастные евреи.

У моего хозяина — 8 голубей.

У Мануйлова острый конфликт с Шеко, у него в прошлом много грехов. Киевский авантюрист. Приехал разжалованный из наштабригов 3.

Лепин. Темная, страшная душа.

Сестра — 26 и 1.

27.8.20

Бои у Знятыня, Длужнова. Едем на северо-запад. Полдня в обозе. Движение на Лащов, Комаров. Утром выехали из Сокаля. Обычный день — с эскадронами, начдивом мотаемся по лесам и полянам, приезжают комбриги, солнце, 5 часов не слезал с лошади, проходят бригады. Обозная паника. Оставил обозы у опушки леса, поехал к начдиву. Эскадроны на горе. Донесения командарму, канонада, аэропланов нет,

переезжаем с места на место, обычный день. К ночи тяжкая усталость, ночуем в Василов. Назначенного пункта — Лащова не достигли.

В Василове или поблизости 11-я дивизия, столпотворение, Бахтуров — малюсенькая дивизия, он несколько поблек, 4-я дивизия ведет успешные бои.

28.8.20. Комаров

Из Василова выехал на 10 минут позже эскадронов. Еду с тремя всадниками. Бугры, поляны, разрушенные экономии, где-то в зелени красные колонны, сливы. Стрельба, не знаем, где противник, вокруг нас никого, пулеметы стучат совсем близко и с разных сторон, сердце сжимается, вот так каждый день отдельные всадники ищут штабы, возят донесения. К полудню нашел в опустошенной деревне, где в льохи* спрятались все жители, под деревьями, покрытыми сливами. Еду с эскадроном. Вступаем с начдивом, красный башлык, в Комаров. Недостроенный великолепный красный костел. До того, как вступили в Комаров, после стрельбы — ехал один — тишина, тепло, ясный день, какое-то странное прозрачное спокойствие, душа побаливает, один, никто не надоедает, поля, леса, волнистые долины, тенистые дороги.

Стоим против костела.

Приезд Ворошилова и Буденного. Ворошилов разносит при всех, недостаток энергии, горячится, горячий человек, бродило всей армии, ездит и кричит, Буденный молчит,

---

* Погреб, подвал (*укр.*).

улыбается, белые зубы. Апанасенко защищается, зайдем в квартиру, почему, кричит, выпускаем противника, нет соприкосновения, нет удара.

Апанасенко не годится?

Аптекарь, предлагающий комнату. Слух об ужасах. Иду в местечко. Невыразимый страх и отчаяние.

Мне рассказывают. Скрытно в хате, боятся, чтобы не вернулись поляки. Здесь вчера были казаки есаула Яковлева. Погром. Семья Давида Зиса, в квартирах, голый, едва дышащий старик пророк, зарубленная старуха, ребенок с отрубленными пальцами, многие еще дышат, смрадный запах крови, все перевернуто, хаос, мать над зарубленным сыном, старуха, свернувшаяся калачиком, 4 человека в одной хижине, грязь, кровь под черной бородой, так в крови и лежат. Евреи на площади, измученный еврей, показывающий мне все, его сменяет высокий еврей. Раввин спрятался, у него все разворочено, до вечера не вылез из норы. Убито человек 15 — Хусид Ицка Галер — 70 лет, Давид Зис — прислужник в синагоге — 45 лет, жена и дочь — 15 лет, Давид Трост, жена — резник.

У изнасилованной.

Вечером — у хозяев, казенный дом, суббота вечером, не хотели варить, до тех пор пока не прошла суббота.

Ищу сестер, Суслов смеется. Еврейка докторша.

Мы в странном старинном доме, когда-то здесь все было — масло, молоко.

Ночью — обход местечка.

Луна, за дверьми, их жизнь ночью. Вой за стенами. Будут убирать. Испуг и ужас населения. Главное — наши ходят

равнодушно и пограбливают где можно, сдирают с изрубленных.

Ненависть одинаковая, казаки те же, жестокость та же, армии разные, какая ерунда. Жизнь местечек. Спасения нет. Все губят — поляки не давали приюту. Все девушки и женщины едва ходят. Вечером — словоохотливый еврей с бороденкой, имел лавку, дочь бросилась от казака со второго этажа, переломала себе руки, таких много.

Какая мощная и прелестная жизнь нации здесь была. Судьба еврейства. У нас вечером, ужин, чай, я сижу и пью слова еврея с бороденкой, тоскливо спрашивающего — можно ли будет торговать.

Тяжкая, беспокойная ночь.

29.8.20. Комаров, Лабуне, Пневск

Выезд из Комарова. Ночью наши грабили, в синагоге выбросили свитки Торы и забрали бархатные мешки для седел. Ординарец военкома рассматривает тефилии, хочет забрать ремешки. Евреи угодливо улыбаются. Это — религия.

Все с жадностью смотрят на недобранное, ворошат кости и развалины. Они пришли для того, чтобы заработать.

Захромала моя лошадь, беру лошадь наштадива, хочу поменять, я слишком мягок, разговор с солтысом*, ничего не выходит.

Лабуне. Водочный завод. 8 тысяч ведер спирта. Охрана. Идет дождь пронизывающий, беспрерывный. Осень, все к

* Сельский староста (*польск.*).

осени. Польская семья управляющего. Лошади под навесом, красноармейцы, несмотря на запрет, пьют. Лабуне — грозная опасность для армии.

Все таинственно и просто. Люди молчат, и ничего не заметно как будто. О, русский человек. Все дышит тайной и грозой. Смирившийся Сидоренко.

Операция на Замостье. Мы в 10 верстах от Замостье. Там спрошу об Р. Ю.

Операция, как всегда, несложна, обойти с запада и с севера и взять. Тревожные новости с запфронта. Поляки взяли Белосток.

Дальше едем. Разграбленное поместье Кулагковского у Лабуньки. Белые колонны. Пленительное, хоть и барское устройство. Разрушение невообразимое. Настоящая Польша — управляющие, старухи, белокурые дети, богатые, полуевропейские деревни с солтысом, войтом, все католики, красивые женщины. В имении тащут овес. Кони в гостиной, вороные кони. Что же — спрятать от дождя. Драгоценнейшие книги в сундуке, не успели вывезти — конституция, утвержденная сеймом в начале 18-го века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты 16-го века, записки монахов, старинные французские романы.

Наверху не разрушение, а обыск, все стулья, стены, диваны распороты, пол вывернут, не разрушали, а искали. Тонкий хрусталь, спальня, дубовые кровати, пудреница, французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молодожены?

Отстоявшаяся жизнь, гимнастические принадлежности, хорошие книги, столы, банки с лекарствами — все исковеркано святотатственно. Невыносимое чувство, бежать от вандалов, а они ходят, ищут, передать их поступь, лица, ругань — гад, в Бога мать, Спаса мать, по непролазной грязи тащут снопы с овсом.

Подходим к Замостью. Страшный день. Дождь — победитель не затихает ни на минуту. Лошади едва вытягивают. Описать этот непереносимый дождь. Мотаемся до глубокой ночи. Промокли до нитки, устали, красный башлык Апанасенки. Обходим Замостье, части в 3–4 верстах от него. Не подпускают бронепоезда, кроют нас артогнем. Мы сидим на полях, ждем донесений, несутся мутные потоки. Комбриг Книга в хижине, донесение. Отец командир. Ничего не можем сделать с бронепоездами. Выяснилось, что мы не знали, что здесь есть железная дорога, на карте не отмечена, конфуз, вот наша разведка.

Мотаемся, все ждем, что возьмут Замостье. Черта с два. Поляки дерутся все лучше. Лошади и люди дрожат. Ночуем в Пневске. Польская ладная крестьянская семья. Разница между русскими и поляками разительна. Поляки живут чище, веселее, играют с детьми, красивые иконы, красивые женщины.

30.8.20

Утром выезжаем из Пневска. Операция на Замостье продолжается. Погода по-прежнему ужасная, дождь, слякоть, дороги непроходимы, почти не спали, на полу, на соломе, в сапогах, будь готов.

Опять мотня. Едем с Шеко к 3-й бригаде. Он с револьвером в руках идет в наступление на станцию Завады. Сидим с Лепиным в лесу. Лепин корчится. Бой у станции. У Шеко обреченное лицо. Описать «частую перестрелку». Взяли станцию. Едем к полотну железной дороги. 10 пленных, одного не успеваем спасти. Револьверная рана? Офицер. Кровь идет изо рта. Густая красная кровь в комьях, заливает все лицо, оно ужасное, красное, покрыто густым слоем крови. Пленные все раздеты. У командира эскадрона через седло перекинуты штаны. Шеко заставляет отдать. Пленных одевают, ничего не одели. Офицерская фуражка. «Их было девять». Вокруг них грязные слова. Хотят убить. Лысый хромающий еврей в кальсонах, не поспевающий за лошадью, страшное лицо, наверное, офицер, надоедает всем, не может идти, все они в животном страхе, жалкие, несчастные люди, польские пролетарии, другой поляк — статный, спокойный, с бачками, в вязаной фуфайке, держит себя с достоинством, все допытываются — не офицер ли. Их хотят рубить. Над евреем собирается гроза. Неистовый путиловский рабочий, рубать их всех надо, гадов, еврей прыгает за нами, мы тащим с собой пленных все время, потом отдаем на ответственность конвоиров. Что с ними будет. Ярость путиловского рабочего, пена брызжет, шашка, порубаю гадов и отвечать не буду.

Едем к начдиву, он при 1 и 2-й бригадах. Все время находимся в виду Замостья, видны его трубы, дома, пытаемся взять его со всех сторон. Подготовляется ночная атака. Мы в 3-х верстах от Замостья, ждем взятия города, будем там ночевать. Поле, ночь, дождь, пронизывающий холод, лежим на

мокрой земле, лошадям нечего дать, темно, едут с донесениями. Наступление будет вести 1 и 3-я бригады. Обычный приезд Книги и Левды, комбрига 3, малограмотного хохла. Усталость, апатия, неистребимая жажда сна, почти отчаяние. В темноте идет цепь, спешена целая бригада. Возле нас — пушка. Через час — пошла пехота. Наша пушка стреляет беспрерывно, мягкий, лопающийся звук, огни в ночи, поляки пускают ракеты, ожесточенная стрельба, ружейная и пулеметная, ад, мы ждем, 3 часа ночи. Бой затихает. Ничего не вышло. Все чаще и чаще у нас ничего не выходит. Что это? Армия поддается?

Едем на ночлег верст за 10 в Ситанец. Дождь усиливается. Усталость непередаваемая. Одна мечта — квартира. Мечта осуществляется. Старый растерянный поляк со старухой. Солдаты, конечно, растаскивают его. Испуг чрезвычайный, все сидели в погребах. Масса молока, масла, лапша, блаженство. Я каждый раз вытаскиваю новую пищу. Замученная хорошая старушка. Восхитительное топленое масло. Вдруг обстрел, пули свистят у конюшен, у ног лошадей. Снимаемся. Отчаяние. Едем в другую окраину села. Три часа сна, прерываемого донесениями, расспросами, тревогой.

31.8.20. Чесники

Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем до основания. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом, обматываются шинелями и идут в наступление на

улей, вакханалия, тащут рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками. Черкашин. В пасеке — хаос и полное разрушение, дымятся развалины.

Я пишу в саду, лужайка, цветы, больно за все это.

Армприказ оставить Замостье, идти на выручку 14-й дивизии, теснимой со стороны Комарова. Местечко снова занято поляками. Несчастный Комаров. Езда по флангам и бригадам. Перед нами неприятельская кавалерия — раздолье, кого же рубить, как не их, казаки есаула Яковлева. Предстоит атака. Бригады накапливаются в лесу — версты 2 от Чесники.

Ворошилов и Буденный все время с нами. Ворошилов, коротенький, седеющий, в красных штанах с серебряными лампасами, все время торопит, нервирует, подгоняет Апанасенку, почему не подходит 2-я бригада. Ждем подхода 2-й бригады. Время тянется мучительно долго. Не торопить меня, товарищ Ворошилов. Ворошилов — все погибло к и. м.

Буденный молчит, иногда улыбается, показывая ослепительные белые зубы. Надо сначала пустить бригаду, потом полк. Ворошилову не терпится, он пускает в атаку всех, кто есть под рукой. Полк проходит перед Ворошиловым и Буденным. Ворошилов вытянул огромный револьвер, не давать панам пощады, возглас принимается с удовольствием. Полк вылетает нестройно, ура, даешь, один скачет, другой задерживает, третий рысью, кони не идут, котелки и ковры. Наш эскадрон идет в атаку. Скачем версты четыре. Они колоннами ждут нас на холме. Чудо — никто не пошевелился.

Выдержка, дисциплина. Офицер с черной бородой. Я под пулями. Мои ощущения. Бегство. Военкомы заворачивают. Ничего не помогает. К счастью, они не преследуют, иначе была бы катастрофа. Стараются собрать бригаду для второй атаки, ничего не получается. Мануйлову угрожают наганами. Героини сестры.

Едем обратно. Лошадь Шеко ранена, он контужен, страшное окаменевшее его лицо. Он ничего не разбирает, плачет, мы ведем лошадь. Она истекает кровью.

Рассказ сестры — есть сестры, которые только симпатию устраивают, мы помогаем бойцу, все тяготы с ним, стреляла бы в таких, да чем стрелять будешь, х — м, да и того нет.

Комсостав подавлен, грозные призраки разложения армии. Веселый дураковатый Воробьев, рассказывает о своих подвигах, подскочил, 4 выстрела в упор. Апанасенко неожиданно оборачивается, ты сорвал атаку, мерзавец. Апанасенко мрачен, Шеко жалок.

Разговоры о том, что армия не та, пора на отдых. Что дальше. Ночуем в Чесники — смерзли, устали, молчим, непролазная, засасывающая грязь, осень, дороги разбиты, тоска. Впереди мрачные перспективы.

1.9.20. Теребин

Выступаем из Чесники ночью. Постояли часа два. Ночь, холод, на конях. Трясемся. Армприказ — отступать, мы окружены, потеряли связь с 12-й армией, связи ни с кем. Шеко плачет, голова трясется, лицо обиженного ребенка, жалкий, разбитый. Люди — хамы. Ему Винокуров не дал прочи-

тать армприказа — он не у дел. Апанасенко с неохотой дает экипаж, я им не извозчик.

Бесконечные разговоры о вчерашней атаке, вранье, искреннее сожаление, бойцы молчат. Дурак Воробьев звонит. Его оборвал начдив.

Начало конца 1-й Конной. Толки об отступлении. Шеко — человек в несчастье.

У Мануйлова — 40, лихорадка, его все ненавидят, Шеко преследует, почему? Не умеет себя держать. Хитрый, вкрадчивый, себе на уме, ординарец Борисов, никто не жалеет — вот где ужас. Еврей?

Армию спасает 4-я дивизия. Вот и предатель — Тимошенко.

Приезжаем в Теребин, полуразрушенная деревня, холод. Осень, сплю днем в клуне, ночью вместе с Шеко.

Разговор с Арзамом Слягит. Рядом на лошадях. Говорили о Тифлисе, фруктах, солнце. Я думаю об Одессе, душа рвется.

Тащим кровоточащего коня Шеко за собой.

2.9.20. Теребин — Метелин

Жалкие деревни. Неотстроенные хижины. Полуголое население. Мы разоряем радикально. Начдив на позиции. Армприказ — сдерживать противника, стремящегося к Бугу, наступать на Вакиево — Гостиное. Толкаемся, но успехов не удерживаем. Толки об ослаблении боеспособности армии все увеличиваются. Бегство из армии. Массовые рапорты об отпусках, болезнях.

Главная болячка дивизии — отсутствие комсостава, все командиры из бойцов, Апанасенко ненавидит демократов, ничего не смыслят, некому вести полк в атаку. Эскадронные командуют полками.

Дни апатии, Шеко поправляется, он угнетен. Тяжело жить в атмосфере армии, давшей трещину.

3, 4, 5, 9.20. Малице

Передвинулись вперед к Малице.

Новый помнаштадив — Орлов. Гоголевская фигура. Патологический враль, язык без костей, еврейское лицо, главное — ужасная, если в нее вдуматься, легкость разговора, болтовни, вранья, боль (хромает), партизан, махновец, окончил реальное училище, командовал полком. От легкости этой страшно, что там внутри?

Мануйлов, наконец, хоть и со скандалом, сбежал, были угрозы арестом, какая бестолковость Шеко, направили его в 1-ю бригаду, идиотство, Штарм направил в авиацию. Аминь.

Живу с Шеко. Туп, добр, если уколоть в нужное место, бездарен, без постоянной воли. Пресмыкательствую, зато ем. Томный полуодессит Богуславский, мечтающий об одесских «девочках», нет, нет, а съездит ночью за армприказом. Богуславский на казачьем седле.

1-й взвод 1-го эскадрона. Кубанцы. Поют песни. Степенные. Улыбаются. Не шумят.

Левда подал рапорт о болезни. Хитрый хохол. «У меня ревматизм, не в силах работать». Три рапорта из бригад, сговорились; если не отвести на отдых — дивизия погибнет,

нет задора, лошади стали, люди апатичны, 3-я бригада два дня в поле, холод, дождь.

Грустная страна, непролазная грязь, отсутствующие мужики, прячут лошадей в лесах, тихо плачущие бабы.

Рапорт Книги — не имея сил управляться без комсостава...

Все лошади в лесах, красноармейцы меняют, наука, спорт.

Барсуков разлагается. Хочет в учебное заведение.

Идут бои. Наши пытаются наступать на Вакиев — Тонятыги. Ничего не выходит. Странное бессилие.

Поляк медленно, но верно нас отжимает. Начдив не годится, ни инициативы, ни нужного упорства. Его гнойное честолюбие, женолюбие, чревоугодие и, вероятно, лихорадочная деятельность, если это нужно будет.

Образ жизни.

Книга пишет — нет прежнего задора, бойцы ходят вялые.

Все время погода, нагоняющая тоску, дороги разбиты, страшная российская деревенская грязь, не вытащишь сапог, солнца нет, дождь, пасмурно, проклятая страна.

Я болен, ангина, жар, едва передвигаюсь, страшные ночи в задымленных чадных избах на соломе, все тело растерзано, искусано, чешется, в крови, ничего не могу делать. Операции протекают вяло, период равновесия с начинающимся преобладанием на стороне поляка.

Комсостав пассивен, да его и нет.

Я бегаю к сестре на перевязки, надо идти огородами, непролазная грязь. Сестра живет во взводе. Героиня, хотя и совокупляется. Изба, курят, ругаются, меняют портянки,

солдатская жизнь, еще один человек — сестра. Кто брезгает из одной чашки — выбрасывается.

Противник наступает. Мы взяли Лотов, отдаем его, он нас отжимает, ни одно наше наступление не удается, отправляем обозы, я еду в Теребин на подводе Барсукова, дальше — дождь, слякоть, тоска, переезжаем Буг, Будятичи. Итак, решено отдать линию Буга.

6.9.20. Будятичи

Будятичи занято 44-й дивизией. Столкновения. Они поражены дикой ордой, накинувшейся на них. Орлов — даешь, катись.

Сестра гордая, туповатая, красивая сестра плачет, доктор возмущен тем, что кричат — бей жидов, спасай Россию. Они ошеломлены, начхоза избили нагайкой, лазарет выбрасывают, реквизируют и тянут свиней без всякого учета, а у них есть порядок, всякие уполномоченные с жалобами у Шеко. Вот и буденновцы.

Гордая сестра, каких мы никогда не видели, — в белых башмаках и чулках, стройная полная нога, у них организация, уважение человеческого достоинства, быстрая, тщательная работа.

Живем у евреев.

Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода.

7.9.20. Будятичи

Мы занимаем две комнаты. Кухня полна евреями. Есть беженцы из Крылова, жалкая кучка людей с лицами проро-

ков. Спят вповалку. Целый день варят и пекут, еврейка работает как каторжная, шьет, стирает. Тут же молятся. Дети, барышни. Хамы — холуи жрут беспрерывно, пьют водку, хохочут, жиреют, икают от желания женщины.

Едим через каждые два часа.

Часть отведена за Буг, новая фаза операции.

Вот уже две недели, как все упорнее и упорнее говорят о том, что армию надо отвести на отдых. На отдых — боевой клич!

Наклевывается командировка — в гостях у начдива — всегда едят, его рассказы о Ставрополе, Суслов толстеет, густо хам посажен.

Ужасная бестактность — представлены к ордену Красного Знамени Шеко, Суслов, Сухоруков.

Противник пытается перейти на нашу сторону Буга, 14-я дивизия, спешившись, отбила его.

Пишу удостоверения.

Оглох на одно ухо. Последствия простуды? Тело расчесано, все в ранах, недомогаю. Осень, дождь, уныло, грязь тяжелая.

8.9.20. Владимир — Волынск

Утром на обывательской подводе в административный штаб. Аттестат, канитель с деньгами. Полутыловая гнусность — Гусев, Налетов, деньги в Ревтрибунале. Обед у Горбунова.

На тех же клячах в Владимир. Езда тяжелая, грязь непролазная, дороги непроходимы. Приезжаем ночью. Мотня с квартирой, холодная комната у вдовы. Евреи — лавочники. Папаша и мамаша — старики.

Горе ты, бабушка? Чернобородый, мягкий муж. Рыжая беременная еврейка моет ноги. У девочки понос. Теснота, но электричество, тепло.

Ужин — клецки с подсолнечным маслом — благодать. Вот она — густота еврейская. Думают, что я не понимаю по-еврейски, хитрые как мухи. Город — нищ.

Спим с Бородиным на перине.

9.9.20. Владимир-Волынский

Город нищ, грязен, голоден, за деньги ничего не купишь, конфеты по 20 рублей и папиросы. Тоска. Штарм. Уныло. Совет профессиональных союзов, еврейские молодые люди. Хождение по Совнархозам и профкомиссиям, тоска, военные требуют, озорничают. Дохлые молодые евреи.

Пышный обед — мясо, каша. Единственная утеха — пища.

Новый военком штаба — обезьянье лицо.

Хозяева хотят выменять мою шаль. Не дамся.

Мой возница — босой, с заплывшими глазами. Рассея.

Синагога. Молюсь, голые стены, какой-то солдат забирает электрические лампочки.

Баня. Будь проклята солдатчина, война, скопление молодых, замученных, одичавших, еще здоровых людей.

Внутренняя жизнь моих хозяев, какие-то дела делаются, завтра пятница, уже готовятся, хорошая старуха, старик с хитринкой, притворяются нищими. Говорят — лучше голодать при большевиках, чем есть булку при поляках.

10.9.20. Ковель

Полдня на разбитом, унылом, ужасном вокзале во Владимире-Волынском. Тоска. Чернобородый еврей работает. В Ковель приезжаем ночью. Неожиданная радость — поезд Поарма. Ужин у Зданевича, масло. Ночую в радиостанции. Ослепительный свет. Чудеса. Хелемская сожительствует. Лимфатические железы. Володя. Она обнажилась. Мое пророчество исполнилось.

11.9.20. Ковель

Город хранит следы европейско-еврейской культуры. Советских (денег) не берут, стакан кофе без сахару — 50 рублей, дрянной обедишка на вокзале — 600 рублей.

Солнце, хожу по докторам, лечу ухо, чесотка.

В гости к Яковлеву, тихие домики, луга, еврейские улички, тихая жизнь, ядреная, еврейские девушки, юноши, старики у синагоги, может быть парики, Соввласть, как будто, не возмутила поверхности, эти кварталы за мостом.

В поезде грязно и голодно. Все исхудали, обовшивели, пожелтели, все ненавидят друг друга, сидят, запершись в своих кабинках, даже повар исхудал. Разительная перемена. Живут в клетке. Хелемская грязная кухарит, контакт с кухней, она кормит Володю, еврейская жена «из хорошего дома».

Целый день ищу пищу.

Район расположения 12-й армии. Пышные учреждения — клубы, граммофоны, сознательные красноармейцы,

весело, жизнь кипит ключом, газеты 12-й армии, Армупроста, командарм Кузьмин, пишущий статьи, с виду работа Политотдела поставлена хорошо.

Жизнь евреев, толпы на улице, главная улица Луцкая, хожу с разбитыми ногами, пью неисчислимое количество чаю и кофе. Мороженое — 500 р. Позволяют себе весьма. Суббота, все лавочки закрыты. Лекарство — 5 р.

Ночую в радиостанции. Ослепительный свет, умствующие радиотелеграфисты, один пытается играть на мандолине. Оба читают запоем.

12.9.20. Киверцы

Утром — паника на вокзале. Артстрельба. Поляки в городе. Невообразимое жалкое бегство, обозы в пять рядов, жалкая, грязная, задыхающаяся пехота, пещерные люди, бегут по лугам, бросают винтовки, ординарец Бородин видит уже рубящих поляков. Поезд отправляется быстро, солдаты и обозы бегут, раненые с искаженными лицами скачут к нам в вагон, политработник, задыхающийся, у которого упали штаны, еврей с тонким просвечивающим лицом, может быть, хитрый еврей, вскакивают дезертиры с сломанными руками, больные из санлетучки.

Заведение, которое называется 12-й армией. На одного бойца — 4 тыловика, 2 дамы, 2 сундука с вещами, да и этот единственный боец не дерется. Двенадцатая армия губит фронт и Конармию, открывает наши фланги, заставляет затыкать собой все дыры. У них сдался в плен, открыли фронт, уральский полк или башкирская бригада. Паника позорная,

армия небоеспособна. Типы солдат. Русский красноармеец пехотинец — босой, не только не модернизованный, совсем «убогая Русь», странники, распухшие, обовшивевшие, низкорослые, голодные мужики.

В Голобах выбрасывают всех больных и раненых и дезертиров. Слухи, а потом факты: захвачено, загнанное в Владимир-Волынский тупик, снабжение 1-й Конной, наш штаб перешел в Луцк, захвачено у 12-й армии масса пленных, имущества, армия бежит.

Вечером приезжаем в Киверцы.

Тяжкая жизнь в вагоне. Радиотелеграфисты все покушаются меня выжить, у одного по-прежнему расстроен желудок, он играет на мандолине, другой умничает, потому что он дурак.

Вагонная жизнь, грязная, злобная, голодная, враждебная друг к другу, нездоровая. Курящие и жрущие москвички, без обличья, много жалких людей, кашляющие москвичи, все хотят есть, все злы, у всех животы расстроены.

13.9.20. Киверцы

Ясное утро, лес. Еврейский Новый год. Голодно. Иду в местечко. Мальчики в белых воротничках. Ишас Хакл угощает меня хлебом с маслом. Она «сама» зарабатывает, бой-баба, шелковое платье, в доме прибрано. Я растроган до слез, тут помог только язык, мы разговариваем долго, муж в Америке, рассудительная и неторопливая еврейка.

Длинная стоянка на станции. Тоска по-прежнему. Берем из клуба книжки, читаем запоем.

14.9.20. Клевань

Стоим в Клевани сутки, всё на станции. Голод, тоска. Не принимает Ровно. Железнодорожный рабочий. Печем у него коржи, карточки. Железнодорожный сторож. Они обедают, говорят ласковые слова, нам ничего не дают. Я с Бородиным, его легкая походка. Целый день добываем пищу, от одной сторожки к другой. Ночевка в радиостанции при ослепительном освещении.

15.9.20. Клевань

Начинаются третьи сутки нашего томительного стояния в Клевани, то же хождение за пищей, утром богато пили чай с коржами. Вечером поехал в Ровно на подводе авиации 1-й Конной. Разговор об нашей авиации, ее нет, все аппараты сломаны, летчики не умеют летать, машины старые, латаные, никуда не годные. Больной горлом красноармеец — вот он тип. Едва говорит, там, вероятно, все заложено, воспалено, лезет пальцем соскребывать в глотке пленку, сказали, что помогает соль, сыплет соль, четыре дня не ел, пьет холодную воду, потому что никто не дает горячей. Говорит косноязычно о наступлении, о командире, о том, что они босые, одни идут, другие не идут, манит пальцем.

Ужин у Гасниковой.

Планы и наброски к «Конармии»

[1] *Белев — Боратин*

Четырехдневный переход. Дневник. Простое длинное повествование. — Начать — прелестный переход? — Увидел, запомнил — переход в лесах с начдивом, постой у немцев, потом у батюшки. — Полковой священник. — К[онстантин] Карлов[ич]. Ночью в штабе... Штаб, символ...

Бой под Смордвой. — Моя болезнь. Ночь в Смордве. — Привал в Жабокриках. — Грищук. — Совещание в Козине.

[2] *Демидовка*

Начало — описание семьи, анализ ее чувств и веры. — Как я все это узнаю? Повсеместное явление. <Их> политическое мировоззрение. — Сирота в доме.

II. Наш приезд. Картошка, кофе. Спор Прищепы с юношей. Мой рассказ о Соввласти. — Вечер. Местечко за окнами. 9 Аба. — Разрушение Ерусалима. — Описание девушки из Кременца. В доме у *будущего* тестя. Наутро она — распатланная, посеревшая, защищает телегу, разговор с комиссаром. Прищепа ходит вокруг нее и тискает, наши девушки варят свинину, кременецкая шьет. — Демидовские экстерны. — Зубной врач — гордость семьи. Описание семьи — отец старого закала, почтенный еврей, новые побеги, к[а]к всегда у евреев — прислушивается к новому, не мешает, — мать посредница, дети разъезжаются, живут, напоенные традицией, есть горбунья, есть [на обороте] гордая (зубной врач), есть пышная (замуж[ем]), одна посвятившая себя

семье и хозяйству, другая акушерка, помогающая бабам, она состарится в Демидовке. — Описать каждую сестру отдельно. (Три сестры — Чехова?) — Лирическое вступление. — В эту-то семью все еще <расползающуюся> не раскалывающуюся приехали мы с Прищепой. — Нам прислуживает горбунья, потом к утру раскачалась и Дора Ароновна, как тяжело смотреть на сломленную женскую гордость. — Красивая девушка, единственная красивая, поэтому так сложно выйти замуж — в ней смесь местечкового здоровья, евр[ейских] влажных, очень черных глаз, польского лукавства и варшавские туфли, ее эти всегда озабоченные родители зачали в простую веселую минуту, в остальных сложность, самолюбие, — единственный сын, 16 лет, значит шесть лет войны, нервен, фантаст, любимый сын матери. — Плач Иеремии. — Сын читает, дочери лежат на кроватях, в белых чулках. — Все нам подносят. — О 9 Аба — построить на соответств[ии] молитвы и того, что за стеной. — Выстрелы, замок, пулеметчики с позиций, гуляет казачня. — Дора Ароновна — у нас праздник — бледнеет от гордости. — Прищепа — кровь проливаем. — Я рассказом увлекаю всех — дольше всех сопротивляется Дора Ароновна.

I. Описание семьи. II. Картошка, скандал, мы едим, Прищепа с затуманенными от ласки глазами. — Они жалкие. Говорим о поляках, Дора Ароновна мечтает о З[ападной] Евр[опе], она в Киеве была в кружках, я рассказываю небылицы, Прищепа и гимназист. — Вечер. Погода пасмурная, [на обороте] местечко невыразимо печально, кривой тесть, приходят пулеметчики, Пр[ищепа] любезничает с девуш-

кой, будем пихать, гимназист идет в синагогу. — II.9 Аба. — Плач Иеремии. — Ночь на дворе. Утро. Пулеметчики уезжают, телега, девушка из Кременца. Гордость Иды Ароновны сломлена. — Что читают 9 Аба? — Просто. Коротко. — Описание сырого вечера. — Описание местечка. — Испуг в синагоге. — Ухаживание Прищепы.

[3] *Демидовка* 1.

Коротко. — Обнаженный Прищепа — Окровавленная свинья. Барсуков. Синагога. — Изнасилование. — Кухня.

Едем с Прищепой, рассказ Прищепы, еврейское местечко, настораживаюсь (отец мой в Бродской синагоге, окруженный купцами на хорах. Плачут женщины).

Глухой отец. — Величественный старик. Тревожное величие глухих;

Спор Прищепы с гимназистом или с Идой Ароновной.

Главы: Прищепа. — Старуха, молитва, свинья. — Ида Ароновна. — Изнасилование. — Синагога.

Форма?

[4] *Демид[овка]* 2

Центр — синагога, крик в ночи, внутренность синагоги, зеленоватые люстры, белые хитоны, горбатые старики.

Нач[ало]. Описание сестер, лежащих в разн. углах, красивая, шелковые чулки, свесившаяся нога, я как прикованный смотрю, ее мягкий таз. — Зубн. врач, гордая, Русс[кое]

Богатство, не верила моему вранью, в награду за ужин, несуществующая делегация. Венские туфли в этой комнате к[а]к проезжая дорога. — Прищепа и красавица. — Она, утомленная грязью, расцветает женский огонь. Глухой отец. — Будем клепать, согласилась, он ждет, мягко похаживая на своих кавказских подошвах. — Обнаженный Прищепа. — Я смотрю на нее после к[а]к на женщину. Прищепа спит — в кресле, раздвинув ноги, уронив голову, шпору. — Иду в синагогу — на женщину только что видевшую голого мужчину, так гнусно и неотразимо голого. И он ее целовал, жадно, долго, сын Израиля во мне пробудился, я ему завидую. — Синагога, ночь, — местечко, обыск, высокий казак, достающий стоя какую-то бумажку. — Синагога замазана, яркий свет, как приятно. — Все на полу. — Ноги в белых носках, к[а]к культяпки. Крик. Возвращаюсь. Встречаю. — Пулеметчики. <Барсуков> Чувство ненависти сменяется тоской за человека. Барсуков, свинья, Иеремия. Горбунья. — Реквизиция телеги, изнасилование. — Грищук?

Начало рассказа — ночь за окнами, местечко, [нрзб] дождь, обыски, ночь кишит безмолвными убийствами.

Конец — Грищук, <по>езжай домой, спим обнявшись.

Начало: Сердце мое билось. Будет ли Прищепа обладать этой девушкой. Моя молитва. — Сочинить молитву.

[5] *Демид[овка]* 3.

Начало — Описание местечка — синагога — Ламберты. — Прихожу — Будем спать. Спор Прищепы с гимнази-

стом. Кишат безмолвные убийства. — Сидят в ряд, — курят.

Время действия — [нрзб] два часа. I. Неудавшееся изнасилование. II. В синагоге. Местечко. — III. Встречаю пулеметчиков, кухня, Грищук, дождь. — Грищук не хочет бежать.

Тонкий стан Прищепы. — По тылах засели, гады. — Разговор о Ревкоме. — Она согласна. Ночь кишит безмолвными убийствами. Евреи в напряженных позах, к[а]к будто в фотографии.

Еврейско-польское-украинское местечко. — Польский замок графа Ледоховского. Дворецкий? — Начало — о замке. — Кругом него бьет эта обычная волынская жизнь — еврейско-польская... Прищепа — квартирьер.

Грищук не хочет бежать. Голова моя горит — я гублю свою репутацию начальника. — Он — поймают, голова моя кружится, я говорю торопливо и страстно.

Нач[ало]. Завтра 9 Аба. Местечко кишит безмолвными убийствами. Казаки и евреи. — Обыск. Замок графа Ледоховского. — Тьма спускается со стремительной пугающей быстротой. — Синагога. — Мое бегство. — Дождь. — Возвращаются пулеметчики. — Жалость к ним. — Сколько силы нужно иметь — чтобы быть созерцателем в наши дни. — У Ламбертов. — Молитва. — Будем клепать — Барсуков. — Три цитаты из Иеремии. — Под аккомпанемент молитвы. — Неудача Прищепы, рассвет, пулеметчики уезжают со двора, я бросаюсь к Грищуку. — Беги — он отказывается, его теплая тугая спина, раздутое тело, беспредельно печальное небо над нами.

Рассказ стремителен, быстр. — Ночь переходит в день — они одинаковы. — Синагога — гриб, освещенный, зеленые люстры, знаменитые медные зеленоватые семисвечники, драконы, змеи — видение старины. — Строение местечка, впереди богачи — раввины, описание раввина с вывороченными веками, кантор, молодые [текст обрывается]

[6] *Демидовка* 4.

Люди [нрзб], писцы священных книг, контрабандисты, — водовозы, книгоноши, служки. — Строение местечка — испокон веков.

Обыск — молодой казак, повелительно стоит, выпрямившись и откинув туловище.

<Замок, луна выплывает, мерцают аллеи, сломанные львы, каменная колоннада, блеск тусклой луны в выбитых окнах.>

Хасидская синагога — мазанка. — <Одесса, другая синагога, детство.>

Порядок. Ночь кишит... Обыск... Евреи у крыльца. <Ночь.> Сумерки. — Синагога. — Будем клепать — Розу?

Наутро. Отъезд. — Спор Прищепы с гимназистом.

I. Синагога.

II. Спор Прищепы с гимназистом. Роза на кушетке. Глухой. В дворе.

III. 9 Аба.

[приписано сбоку] Короткие главы.

У раввина пухлая старческая рука.

[7] <I. Переезд к безногому. Приказ Буден[ного]. К[онстантин] К[арлович] и Бахтуров. Рассказ К[онстантина] К[арловича].

II. Паника. — Начдив. — Мои лошади. Ночь. Броды. — Радзивиллов. — Хотин. Грищук. — Голод его. — Матяш.

—

Покушение на сестру. — Перчатка [нрзб] Тимошенко.>

—

[8] *Лешнюв*. 29.7.20.

Превратности кавкампании. — Дождь — победитель, галиц. местечко — сквозь сетку дождя. — Ночь у Фроима. — Тревожная ночь. — Говинский и Грищук. — Шоссе на Броды.

Просто описать ночь. Начало: ночь будет тревожная. Состояние ожидания и усталости.

[9] его тонкой и невозмутимой усмешки.

Гржималовка, починок из двадцати-тридцати хат, была расположена на возвышенности, с которой открывалась отличная перспектива на Стырь и на приснопамятную Чуровицкую переправу. У моста шла беззвучная и томительная возня. С одной стороны <его> стояли поляки, на нашем берегу действовали спешенные эскадроны Книги. Было тихо, изредка с коротким отчаянием вспыхивала пулеметная

сухая дробь, вкрадчивое, невидимое присутствие неприятеля чувствовалось в легком сером пустом небе.

[10] *3 августа. Бой под Бр[одами]* 1

Бой под Бродами. — I Мое плутанье.

I. Сестра-еврейка. Что это такое?

Сплю в поле, привязав стремя к ноге. Хочется убить повозочного!

Главное — о сестре.

—

II. В Радзивиллове. — Визит К[онстантина] Карл[овича] и Тимошенки. Бой кончился сменой комсостава.

—

III. <Новые> *Отдых*. Новые люди. Ночь в поле. Лошади, привязан к стремени. — Ночь, кукуруза, сестра. Рассвет. — Без сюжета.

—

Главу о Бродах — отдельными отрывками — отбился от дивизии, что это значит.

—

Вася Рыбочкин.

—

Стиль — <В Белеве>. — Короткие главы, насыщенные содержанием.

Конкин. Застаю бригаду в ожидании. Представление у батюшки. Чего тебе, Масейка. — Известие за героя Василия Рыбочкина. — Приказ командарма. Другой Рыбочкин. — <*Бой*> Плетит казака. — Потом из боя, золотые часы, сунду-

ки, конь. — Приеду в Нижний, эх, запылю... Сестра милосердия на лошади, <зара[за]> стерва... — Заработал комиссар. — Карточка клоуна. Привет из Нижнего. — Всемирно знаменитый <кло> чудо-клоун и парфорсный <но> ездок-иностранец. — Шествие отдаляется.

[11] *Бой под Бр[одами]*. Воз[з]в[ания] Пильс[удского] 2.

Убитые, зарубленные, солнце, пшеница, солдатские книжки, листки Евангелия. — Воззвание Пильсудского?

[12] *Бой под Бр[одами]*.

Никаких рассуждений — Тщательн. выбор слов.

Конкин — пословицы: Бог не захочет, пузырь не вскочит. — По бороде — Авраам, а по делам хам. — В грехах, к[а]к репьях. — Кусают и комары до поры. — Своя рогожа — чужой рожи дороже.

[13] *Бой под Бр[одами]*.

1. *Уход из Белавцев*. Бой под Бродами. — Я перевязываю. — Описание боя. Корочаев. Смерть раненого на моих руках. Радзивиллов. Иван убивает лошадь, всадник убегает. — На мосту. — Жалко простокваши.

2. Отъезд из Брод. Нетронутый паровой гарнитур. Экономия. <Буденный и комбриги> Выхожу по естественной нужде... Труп. Блещущий день... Все усеяно трупами, совершенно незаметными среди ржи. — Воззвания Пильсудского. — Бой, рубка в безмолвии. — Начдив. — Отдаляюсь. Почему? Не в силах вынести.

Конкин*

3. Плутания. Вначале я попал… Конюшково. — Антисемиты. — Сестра.

4. Радзивиллов.

[14] *Бой под Бр[одами]*.

1. На Радзивилловском шоссе. Бой. В Радзивиллове. Ночь. Передвижение коней — главное.

2. Ночь в Бродах. За стеной синагоги.

3. (Коротко.) Отъезд из Брод. Труп. Поле, усеянное трупами. <Бой> Воззвания Пильсудского. Бой. Колесников и Гришин. Ухожу. — Раненый взводный, — отдельная вставка.

4. Конкин. В плутаниях. — Антисемиты.

5. Сестра. Ночь. Отчаяние. Рассвет.

—

Форма эпизодов — в полстраницы.

—

Бой.

1. Раненые на тачанке. Героизм казака. Стрелять буду. Смерть раненого.

2. Ночь, движущиеся кони.

3. Броды. За стеной.

4. Отъезд из Брод. Трупы. Воззвание Пильсудского. Начинается бой. Колесников и Гришин. — Начало скитаний.

---

* Слово надписано сверху над третьим пунктом и взято в квадратную рамку.

5. <Левка.>
6. <Конкин. —> 7. Сестра. —

[15] *Бой под Бр[одами]*. II

На тачанке Ивана. Раненые. Левка? — Броды или Радзивиллов. Простокваша manque. —

—

Бой у Клекотова. Буденный со штабом. Отбился от своих. — Плутания с 4 дивиз[ией]. — Сестра.

—

Конец боя. Ночный начдив со свитой. К[онстантин] К[арлович] в Радзивиллове.

—

Левка[*]

Главки?

I. На тачанке Ивана. Смерть. — Описание раненых.

—

Буденный, Колесников, Гришин.

—

Плутания. Я с евреем не разговариваю. Т[а]к далеко от городов.

—

Наши герои — ужасные люди.

Сразу описание боя — пыль, солнце, детали, картина буденновского боя. — Подробности — убийство офицера и прочее. — За тем — у нас на тачанке, мертвецы. — Броды или Радзивиллов?

---

[*] Слово вписано позже и заключено в квадратную рамку.

—

II. <Поле. Описание ночлега. Сестра. — Лошади тащут людей. —>

*I. Уход из Белавцев. Бой под Бродами. На тачанке Ивана. —

II. Радзивиллов.

III. Заезд в Броды. Поле у Клекотова. Экономия. Поле, усеянное убитыми. Воззвания Пильсудского. — Встреча с начдивом.

IV. Бой под Клекотовым. — Конкин. — Смерть польского генерала.

V. Плутания с 4 дивизией. Ночь в поле. — Сестра-еврейка.

VI. В Радзивиллове. К[онстантин] Карлов[ич] — Шеко.

[16] *Диалоги. Бой под Бродами*.

Привалы. Сено. Клуни. Кони. —

Сюжеты? —

Хитрый фельдшер. —

Приезд на ночлег. Уход за лошадьми. Тащим сено у крестьян. —

Ночь. — Два часа отдохнули. На кони! —

Бой под Бродами. — Украли уздечку. —

[17] *Броды*.

Я не видывал города печальнее. — Истоки еврейства, печать на всю жизнь. Бродская синагога в Одессе,

---

* Отсюда и дальше до конца фрагмента текст взят в рамку.

аристократия. — Вечер пятницы. — Город — быстро обойти центр, разрушен. окраины, евр. город, — описание синагог — главное. —

I. У галичанина. Вежливая смерть. — II. Синагоги. — III. — Ночь, за стеной. — Талмудисты. — Хасидизм с вытекшими глазницами. — Видение старины — за Белзского раввина и за Гусятинского. — Люстры, старики, дети, талмудисты. — Много я видел ночей, трясся в коридорах, но такой сырой скучной, грязной ночи не видел. — Она сестра, он из интендантства. — В щелочку. — Ругань женщины. — История синагоги. — Узнать историю Брод. — Скрывают сухонького старичка — Белзского раввина. — ? — Без сравнений и исторических параллелей. — Просто рассказ.

[18] *Пожар в Лашкове.*

Галицийская культура. — Священ<ник>, Щептицкий, описание икон, риз, бабье, как хоронят, церковь. — Апанасенко на пожаре, похож на Уточкина. — Казаки рыщут. — Всю ночь комната моя освещена. — Мои хозяева в Лашкове. — Под окном кубанцы. — Тут же — оркестр — сестра? Предложение? — Галичане тушат отвратительно вяло, не умеют. — Сгоревшие лошади, обгоревшие коровы. — Апатия галичан. Апанасенко. —

Коротко. — Сразу пожар, Ап[анасенко], галичане, казаки. — Кучка у церкви, разговор с священником, граф на Щептицах. — Митрополит Галицкий.

—

1 страница. Миниатюра.

[19] *Милятын*.

Сразу описание монастыря. — Ксендз. Похороны. Полька. — Корочаев. — Воспоминание — дни покоя. Жующие лошади, сквозит небо, лежим на сене. — Потом — у еврея, Корочаев держит себя как помещик. — В еврее не было ничего от революционера. — Разжалованный начдив. — Потом звезда Корочаева — еврей, помощн. командира эскадрона. — Книга. — Высокий неподвижный человек, грузный, как инспектор у Короленки, садится на диван, молчит, водка — немая сцена — фигура за оградой <[нрзб]> базилианский монастырь, монах в серой рясе, высокий, широкоплечий, перебирает четки, стою — заколдованный — потом в шум, грохот обозов. — Поляк, лежащий в гробу. — Два ординарца — один — Борисов, мягко расхаживает по двору, склонив голову, — другой — Киргиз — изнасилование — лицо ее, искривленное наслаждением, колени торчат. — Утром. — Труп рассечен — раскрывается и собирают вновь. — Мне до того жалко польки — мне хочется быть изящным, галантным.

Возвращаются из боя — особое спокойствие, обычность посадки, профессионализм! — Отдельно: Милятын, Корочаев. — <Сидят> Изнасил[ование]. — Сидят друг против друга — выпу[чив] глаза —

[20] *Милятын* 2.

Прислуга — крохотная, коричневая уродливая полька — телочка с сосками, молодая мать. Прохладная роскошь комнаты. — Пустые сжавшиеся соски.

Порядок. Душный, пыльный золотой вечер. — Обозы. — Сразу описание монастыря. Патер и его племянница, дороги в монастыре. — Хоронит тайком... Я пробираюсь в монастырь. Властный голос ксендза. (Не соблюдать непрерывности в рассказе.) Обряд похорон. — Смена приказа, прибытие казаков, я ухожу. — Казаки деловито возвращаются из боя. —

II глава — о Корочаеве.

—

Прислуга у ворот — главное доверенное лицо.

[21] <*Задвурдзе*. Просто и коротко.

Начало — обычная обстановка атаки. Молодой комбриг перед Апанасенко[й]. Уб[ью]. Бандягу к такой-то матери. Едет Книга с [нрзб].

Хлопотливость — одного пристреливают, другого прикалывают. Эта корчащаяся, шевелящаяся земля. — Пощады не просят. — Зарежу, поляк сгибается к[а]к на гимнастике. —

II. Письмо к Шевелеву?

Задвурдзе>

[22] *Задвурдзе*. 17.8.20.

В моей памяти этот день горит, как
щит багровый пламень всходил
нависть без смысла и детская кровь
Мы должны прорвать железну
<нами равнина.> Бой кипит

в атаку польскую пехот
штабом, стоит в кустах. <Его>
летит по ветру. Начальник
молодому казаку. Тот слуш
вывает изо рта < выбитые в>
<бою.> Его <рот> губы разорваны штык
пальцем в воздух. Карты у
<Веди пол по под лесом.
Раздери ему, бандяге,
<эту> сволочь к такой то мат
<Полдень. Блистающий зной>
Конница бежит по полю.
Не страшно. Лошади, уме
жутся игрушечными. Согну
таптывают пылящую земл
шутся во все стороны как б
рукой и где-то сыплется нен
Полк свесился над лесом
полей стремглав вынеслась
нами голубая и сияющая
лощиной всадники рубят
<сенко вскочил, Вскочив н>
<вив твердые ноги Апанас>

[23] *Бой под Львовом*

По дням. Коротко. Драматически. — Включить — польская авиация. — Милятын — Задвурдзе.

[24] *Польская авиация. Бой под Львовом*.

Конармия отступает. Перед кем? Перед двадцатью аэропланами. Секрет разгадан, лекарство найдено. Мошер был прав. Аэропланы действуют деморализующе. — Ранение Корочаева. — Письма майора Фон-Ле-Ро в штаб в Нью-Йорке. — В первый раз встреча с зап. европейской техникой. — Вылетают утром. —

Бой под Львовом. — Описать бой с аэропланами. — Потом рассуждение. — Бой. — Эскадрилья нас мотает, преследует нас, мы мечемся, переезжаем с места на место. Бой под Львовом. — Описать день. — Рассуждение после рассказа. — Две фазы войны. — Наши победы, бесплодие наших попыток, но неуспеха войны не видно. —

[25] *Сокаль* 1.

На площади перед синагогой. Споры евреев. Казаки роют могилу. Труп Трунова. Тимошенко. Аэроплан? — Евреев разогнал аэроплан, тогда я подошел к Тим[ошенке]. — Одна фраза из письма Мельникова — и страдания посередь той армии понимаю. —

Порядок: Евреи. Аэроплан. Могила. Тимошенко. Письмо. Похороны Трунова, салют. —

Ортодоксы, раввин из Белза. —

Проиграл я тебя, Саша. —

Религиозное побоище, можно бы подумать восемнадцатый век, Илья-Гаон, Баал-Шем, если бы казаки (описание) не рыли могилы. —

Униатский поп, нога дугой. —

Униатский <поп>, потрава, потрава, говорю я, есть дела поважнее, сейчас аэроплан, точка вдали, казаки — и выходить не надо будет. Помните Мельникова, белый жеребец, прошение в армию. Он кланяется и передает вам свою любовь. Тим[ошенко] <взял> пишет на крышке гроба, полевая книжка.

[26] *Сокаль* 2.

Убирайтесь к свиньям с вашей потравой, тут дела поважнее есть. —

Тело Трунова с приставленными ногами, начищенные сапоги. — Голова на седле, стремена вокруг груди, —

Проиграл я тебя, Пава, —

Очень просто, *фактическое изложение*, без излишних описаний. —

Стать смирно. Хороним Павла Трунова. Военком, скажи слово. И военком произнес речь о власти советов, о конституции СССР и о блокаде. —

Прошедшее время.

Помню, сказал Тимош[енко], вот бы он теперь пригодился. —

Хороним Павла Трунова, всемирного героя. — Военком, помяни героя перед бойцами. —

[27] *Смерть Трунова*.

И я поверил бы в воскресенье Илии, если бы не аэроплан, который заплывал и т. д. Он бросал с мягким шумом бомбы, артиллер[ийские] запряжки. —

<Казак из> Аэроплан, казак из могилы — долаживаю вам тов. начдив, возможная вещь, что здесь и останемся. Ясно — и пошел оправлять убитого. Седло, стремя, оркестры и делегации от полков. —

Хороним Трунова, всемирного героя, слово для выражения имеет военком. —

Тов[арищи], — ком. партия есть железная шеренга, бессчетно отдающая свою кровь в первом ряду. И когда из железа текет кровь, то это вам, товарищи, не <шутейное дело> шутки, — а победа или смерть. Сюжет — речь военкома.

[28] *Лабуне*. Дисциплина, Кр[асная] Армия. — Все пьяные. — Молчат. — Приезжают в молчании. — Сюжет — напились, но безмолвно, приезжают на ночлег в полном молчании. — Вначале о военной обстановке. — Пьяный Ап[анасенко] проезжает впереди пьяного эскадрона, друг от друга таятся. — Управитель рослый, серый твердый поляк с большими ушами, молодая жена, очаровательные дети. — Национальный институт, такие пары встречаются часто и дети крепки, рослы. —

II. Усадьба Кулачковских. — Левка прорвался — но как огонь в безвоздушном пространстве — погас. — Мне подносят сумрачно и дружелюбно. — Апанасенке подают лошадь.

[29] *Теребин*. Обстановка после поражения. Шеко и Винокуров. — Мануйлов... Арзак... Тифлис...

[30] *Будятичи*. Встреча с 44 див. Доктор, сестра, бей жидов, спасай Россию. — Гордая <органи> сестра, хорошая организация медиц. помощи, в бригаде порядок. Орлов... Катись, дальше... В это время — элегантный Шеко. — Скандал с Орловым. Сестра, к[а]к привет из России, там что-то Новое, если такие женщины идут в армию. — Новая армия, настоящая. — Характеристика Орлова. Он выбрасывает вещи. — Они пакуют вещи — культура — термос, плед, складные кровати.

[31] *Владимир Вол[ынский]*. —

Копошусь в теплой яме. Горячность еврейской семьи. Сижу, не выхожу в город. Я сплю против беременной женщины. Легкая походка Бородина. —

Баня. Фантастическое зрелище. Жалкое, русское зрелище. —

—

Главное — к[а]к хорошо ощущать себя в этой горячей потной яме. Даже корысть — не раздражает, она дружная, у них — восторг наживы, пятница, вечер, они мне благодарны. —

—

Заметка психологическая. — У русских есть смерть — здесь нет. Не представишь себе этих лиц в гробу. — После этой призрачной сухой беспощадной жизни, с добротой такой простой и дикостью — бессмысленной — здесь к[а]к-то распариваешься. — Набираешь сил бессмертия. — Этот таин-

ственный жар семьи. — Описать старика и старуху, корыстных, трудолюбивых, жадных к жизни без угасания. — Жизнь придушенная, но бьющая, к[а]к пламень — вверх из ямы. —

Рассуждение. Вкрапить события. —

[32] <[Де]емидовку, будь интел-
<[нрзб]>
там, будь интеллигентен,
прошу тебя Шевелев.>

[33] Загладь невольный грех
от плодов Талмуда.
бертами, Шевелев. Я
рядку. —
Мы приехали в Демидо
путчиком был простой как трава и свир* Прищепа
тельный хам, безграмо
ративное пятно, будущи
ный сифилитик и нет
<бел> красную черкеску
<ба> белоснежный
тый за спину. Всю дор
мне о том, как он с

---

* Слова *простой как трава* и *свир* приписаны сверху, в результате чего линия обрыва страницы приходится на *свир[-епый?]* и щадит *Прищепу*.

<в родной> по станице
тоин <чт> того, чтобы
Кубань пришли бел
его родители были
в контр-разведке
щено соседями.
вернулся в родну
ноармейцем, под

[34] полотенца. Он вышел
ной черкеске с кривым
оясом, телега с мебелью
ди. Прищепа ходил от
и кровавый <след> отпечаток его подошв
<путь.> В тех хатах где
цыплят своей матери
отца — он оставлял
черепа младенцев,
повешенных над
иконы загаженные
[ч]убатые старики, пону-
юмо следили его путь,
<ница молчала п. ч.>
казаки рассыпались
хал и станица молчала
улся в свой опустошен
<вил отбитую у соседей мебель>

[35] *Грищук*

I. Белев, обморок Грищука.

—

Две России. Уехал шесть лет тому назад. Приехал — что увидел.

Монолог Грищука. — Стиль.

[36] *Говинский*.

Польский дезертир. Где еще такая армия? Приняли и сейчас же ко мне кучером. Он в потрясении, потом нахлестывает лошадей и поет во все горло.

Рев[олюционная] глава. — Аф[онька] Бида.

Поймали, хотели убить, главное, почему не убили? — потом забыли, потом вставили в список на довольствие. Сюжет — к[а]к Говинский был зачислен на довольствие.

[37] *Корочаев и еврей*.

Гордый еврей. Назначили командиром полка. Не показать виду — перед казаками. Смерть еврея.

[38] *Лепин*.

Бунт души. Захотел к латышам. — Его прошения.

[39] *Жизнеописание Апанасенки*.

Унтер-офицер. 4 Георгия. Сын свинопаса. — Собрал деревню. Действовал на свой страх и риск. — Соединился с Буденным. — Астраханский поход.

Послание к полякам, которое начинается так: Сволочи.
Составить послание.

[40] *Ап[анасенко] и Винокуров*.

Случай с Яковлевым — Казаки на поклон. Винокуров гнет свою линию. — Описать трапезу, молодой задор Яковлева...

Инцидент с сестрой. — Книга и еще целый ряд — чувствуют себя к[а]к дома.

Сестра приехала для Тимошенки.

Дом священника...

Нач[альник] регистрода стреляется... Апанасенко приходит извиняться... Винокуров хитрит, хлопает по спине... Разоблачение заврегистрода...

У нее была гадливость, потом к[а]к изменяется выражение женщины... Под иконой...

[41] *Тимошенко*.

C'est superbel — Декоративный начдив. — Переезд, красная фуражка, белый жеребец. — Спокойный, точный, чистоплотный авантюрист. Творец жизни. Кони. Холуи. Автомобиль. — Ремесло начдива. — У батюшки. — Холуи — рабы. — Хороший наштадив.

Биография,

Переезд — День начдива. — Холуи начдива.

[42] *День начдива*.

Собирательный день. Повествование.

I. Француз. II. Торбочка из Совнархоза. — III. Утро начдива. — В штабе. — Холуи начдива.

—

Начало — холуи убирают лошадей, их еда, разговор с казаками, пренебрежительное отношение к другим. — Рассказ — форма.

Утро начдива.

[43] *Три военкома*.

Прощание с Бахт[уровым]. Губанов, Ширяев, Винокуров... Рассказ о Губанове — прихрамывающий двадцатидвухлетний парень, властелин нехотя, ученик городского училища, мелкий мещанин — вижу, к[а]к он едет во главе полка...

Ширяев и Книга... — Гришин... Новое поколение — мещане... Гришин — донской казак... Губанов — мельчает порода, ну, кто таких Апанасенко, ухожу, устал, его ординарцы, рисуется, медленно взбирается на лошадь...

Гришин с красными губами... О новой породе мещан. —

[44] *Порядок*. День покоя. Прохожу мимо двора, в котором живет Бахтуров. Жена. — Отступление — о женщинах в Конармии — Шурка Гусевская, припускают жеребцов, зарезанная сестра — сестры, которым никто не намолотит овса — ненависть, — <Русская красавица>.

—

Отдых. — Бойцы, лошади. — Корочаев и еврей. — Шурка. — Ал[ександра?] Вас[ильевна?] — начдив за

занавешенным окном, тайна <секр> успеха. — Главное — бойцы, молотят овес. — Кубанцы за котлами. — Белье развеш[ено] по всему селу. — Скребет лошадь, потом спит на сене. — Начдив целый день у себя дома — потом в штаб, потом на бел[ом] жеребце на позиции.

Просмотреть Лашков, Хотин. — Экипаж с торчащими дышлами. — Раскрытый мотор в автомобиле.

Странствия в обозе — расплата за редкие дни помещичьего покоя.

Отдых. — 1 страница. — Жена Бахтурова, утро начдива. Фигура начдива, несколько строк. —

Жена Бахтурова.

В обозе. Смуглая казачка с бусами. — Стоит неподвижно, жалкая фигура. — На стоянке — семейная обстановка, оба рослые сидят за столом, она готовит, Ив[ан] Иваныч кони, денщики, экипажи, он в красных штанах и в рубашке.

Начало — о женщинах в Конармии. — Сегодня Бахтуров женат. — Среди села — он как помещик. — Заглядываю внутрь двора. — Ночью — он выходит, почесывается. — Стройная, в шали, — высокие ноги, хозяйство. — Жена или наложница. — О женщинах в Конармии. — Гусев и Шурка. — Его презирают — он труслив, — военком тыла, эта толстая Сашка, со свиным рылом, она с безмятежным видом ест, она знает, зачем она здесь и не понимает, почему ей надо заниматься еще всякими другими обязанностями. Рассказ о зарезанной сестре. — Кучер жены Бахтурова. — Она держится особняком. — Белев? — *Хотин*?

[45] *Сестра. Ап[анасенко]*. История русской женщины. История изложить по дням. — Мораль?

[46] *Приез[д] жены*.

15 строк. — Обедаем. — Хороший, неожиданный обед. — Жена приехала, <а> он бабник и вольный козак. — Подпоясывается. Идет. Она усмехается. — Зачем приехала. Не томи. Злостная, слепая, азартная и мучительная любовь. Убил. — Возвращается обедать. Арест. — Давнишняя семейная история, слепая баба. — Убил — отвечу.

[47] *Сын Апанасенки*.

О мальчиках в армии. — Сын атамана, его лошадь, езда, ординарцы. Покровительство. — Александра Вас[ильевна]. — Очаровательно. Начать — ее рассказы, история с Ап[анасенкой] — Глупа. — ЧК и любовь. — Лес, ее напаивают, — причастили, — казаки подсматривают. —

История про бабу.

[48] *За стеной*.

Броды. Одесская гостиница. Я сижу и слушаю, к[а]к совокупл[яются]. Новое совокупл[ение]. Он из хоз[яйственной] части, она из питпункта. Их разговор. — У нее хриплый голос. — Казар[менное] байковое белье. — Грязные. — Диалог? — Она ругается по матушке, пьет водку, оба в мужском костюме, я думаю, что <два муж> оба мужчины. — Она — братва та хули… Начало — к[а]к скучно, как томительно и длинно совокупляются русские люди. Об этом можно было

бы написать трактат. — В юности я простаивал у коридоров, подслушивал, хихиканья, женщины находят слова, переворачивающие душу, а теперь... Черепахи — три года, вот так же и эти... Общественная сторона этого совокупл... — Она рассказывает о канцелярских мытарствах, спят на прелом сене...

Он — и опять мне чудится мертвое лицо. — Брезгливое совокупл... Они из хозяйств. организ[ации] — эти наследники интендантства — их социальная структура. — Она брезгливо курит крученку. — Оба они лежат — к[а]к мертвые, а за окном тревога, ночь смутная. — Она — выпьем... Оба пьют, к[а]к двое мужчин из полоскательниц. — Ее торчащие ноги с косточками. — Она в мужских парусиновых кальсонах.

Рыбочкин. — Начало ночи, тревога... Главное — ночь в Бродах, на фоне этой ночи — пара...

[49] *Молчание*.

Получили телеграмму — Красностав, Холм. — Казаки в кругу. Молчание. — С каждым нужно уметь обращаться.

[50] *Мануйлов и Богусл[авский]*
Рассказать по дням? —
Богуславский едет за арм[ейским] приказом. —
Сиреневые кальсоны,
Расположить по главам.

Человеки
Козицкий.
Встреча с женщиной,
Полная русская дама...
Игнатий. —
[нрзб]
Орлов. Его разговоры.

[51] *Вареники с вишнями*.

Иванчково. К[онстантин] Карлов[ич] — Натюрморт. — Холуи насыщаются. — Он рассказывает о хитром фельдшере, о Варшаве, водка. —

—

Натюрморт.

Взять из следующих глав.

[52] *Житом[ирский] нарком*.

Я видел в Финляндии, настоящие пролетарии, здесь — евреи, вылезшие из гробов. Каторжники у стола. Чахлые евреи, гнущиеся под тяжестью оружия, под польским игом, местечковые коммунисты. — *Евреи, поющие интерн[ационал]*. — Сюжет для Андреева. — Раса гномов, необыкновенно малые ростом, важные и молчаливые, увешанные оружием, ремнями, один только непомерно длинный и тощий в обмотках сине-рыжий в короткой курточке. — Молодые евреи, ремесленники поляки — в евреях что-то ласковое, к[а]к в праздник. — Фамилии — Уваров, Бартенев. — Русские извозчики. — Социальное происхождение Жит[омирского] наркома.

[53] *Коммунист и казаки*.

Они грабят. Он увещевает. Потом в бешенстве — выбросим вас к ... матери. Грязными руками делаем, бриллианты в огне — в перчатках их таскать.

Я с подвязанной щекой и евреи. Вы начальство? — Начальство, стоило кровь проливать.

[54] *Чехи*.

Русский чиновник в Финляндии. — Poéme en prose. — Вихрастый полубезумный мужичок. Барин — я там родился, а здесь умру. — Я надел свой имею... Он пашет плугом, детей в школу, старухи [нрзб], квас из яблок, моих — мало-мало.

И я вспомнил Финляндию...

Нач[ало]. Поехал в Шпаков. Увязался мужичонка, тревожится. Я увидел. Описание. Речи мужика. Отъезд, полк, входящий в деревню...

—

Просто. Мне нужны были лошади. Выехал из Белёва. Увидел. Благолепие. Проехал по селу. — Плохой из меня казак. — Все.

Poéme en prose. — Главное — благолепие чешского села. Концерт в Катариненштадте. — Центр. — 3 фразы? — В трактире — группа чехов. — Чем занимаются? — Курят.

<Ингулову — Смерть Дол[гушова]>

<Известия — Тракт[ат] о трубке.>

Спят. — Режут голубей. — Я ушел. —

Две части — первая — поэма в прозе, тишина и благолепие чешской колонии, вторая — встречаю Акинфиева (?) не смог — и. т. м., удар по морде. Ты не можешь, а я могу. Ты зад, а я грабитель... И. т. м... Убить тебя надо — терзать тебя, гадину, на куски...

Комбриг — тут, парень, нечего барахолить, тут наш район...

Его, которого грабят, тебе жаль, а меня, который грабит, тебе не жаль? — Удар по лицу.

<Сердц> С чем ехал, с тем возвращаюсь, сердце не хватило, <[нрзб]> Жаль... —

Буденновец не получится...

О чем задумался, господин писатель? Не получится из меня буденновец. Что так...

Придурковатый и недавно в партию записался. —

Он окликает — о чем задумался, не выйдет буденновец, что так? Поехал за конями, жалко, шут с ними. — Он потемнел, отъехал. Смотрю на село, куры летают над заборами.

[55] *Чехи* 2.

Тебе его жаль, на двух задницах сидит, а себя тебе, ободранца, не жалко. Жалей за всех вас — сердце разорвется. — [Горю] Жалей вас горюнов. —

В России сколько орлов погибли, а вас холют, погубите вы нас... —

Жалетелей на всех вас, на горюнов где набрать? — Он задрожал, побледнел и ударил меня по лицу. Мужичонка — жена у него в молчании живет, поп к кажному человеку склоняется. Не за что их бить, а бьют, может за то и бьют, что не за что...

[56] *О пчелах*.

Рассказ? Фигура старика-чеха. Он погиб — искусанный.

[57] *Сов[етские] главы*.

Старый еврей — царствие небесное наступило.

[58] *Книги*.

Стиль, размер. — Кладбище в Козине...

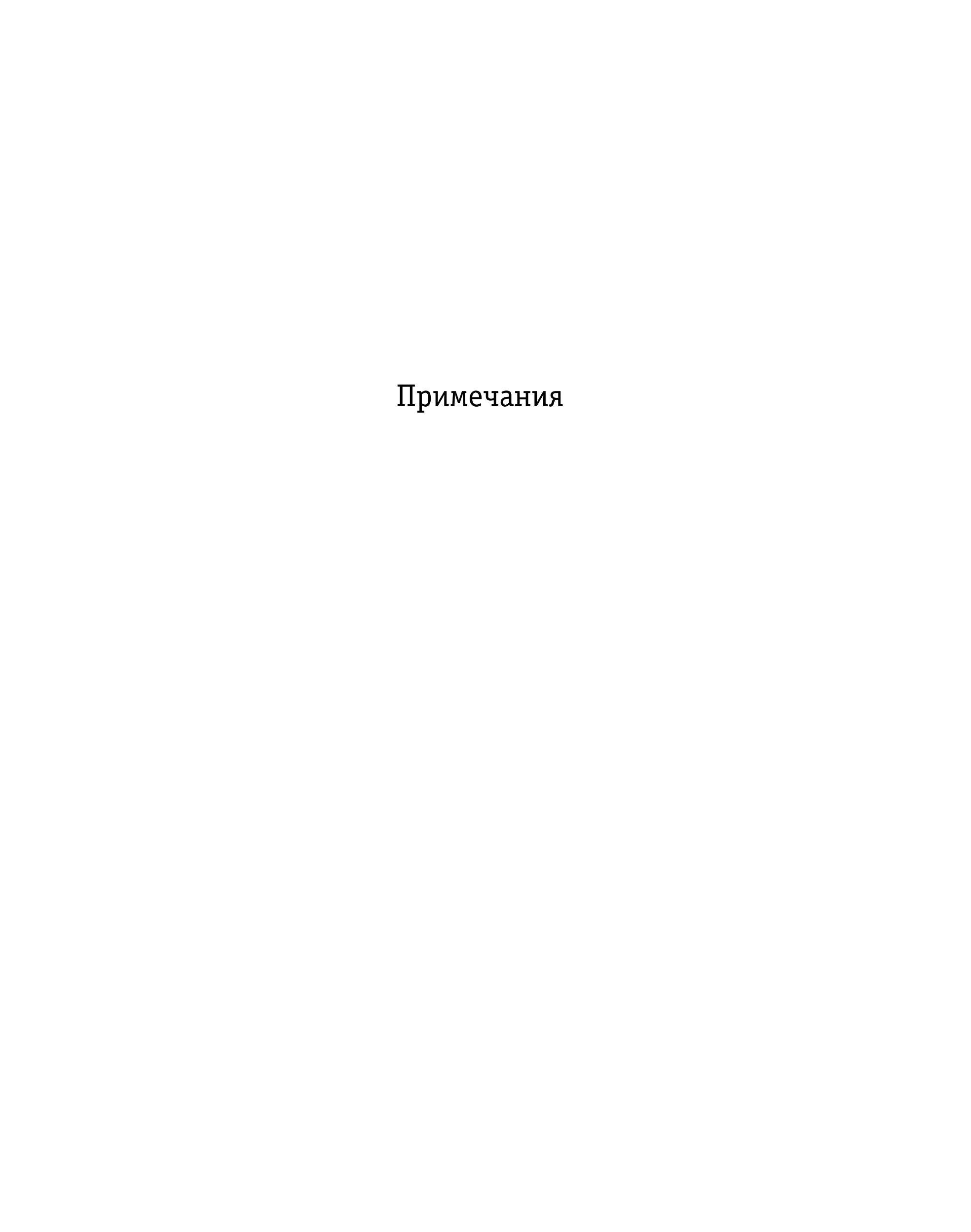
Имение Кулачковского, лошади в гостиной — перечень книг —

Поэма в прозе.

Книги — я захватил сколько мог, меня каждый раз зовут — не могу оторваться. Скачем — бросаю каждый раз — кусок души — все бросил. — Центр — перечисление книг. —

Книги и бой —

Элоиза и Абеляр. — Пьетро Аретин<о>. — Наполеон. — Анатоль Франс. —



Примечания

Конармия

Печатается по: Бабель И. Конармия. Исправленное V–VI издание. М.; Л., 1931. 127 с.

После публикации отдельных рассказов Бабель впервые собрал их в книгу в 1926 году, продолжая творческую работу над текстами при дальнейших переизданиях. В 1931 году вышло, как указано на титуле, «исправленное V–VI издание» книги, в 1933 году — «VII–VIII дополненное издание». Наконец, в 1936 году «Конармия» открыла самый большой бабелевский прижизненный сборник «Рассказы».

В двухтомнике 1990 года книга публиковалась по изданию 1936 года, однако с некоторыми цензурными изъятиями (впрочем, немногочисленными). По непонятным причинам в нем отсутствовали и датировки под отдельными текстами, сохранявшиеся в прижизненных изданиях.

Однако издание 1936 года в части, относящейся к «Конармии», является дефектным. В нем не только исчезли нежелательные в середине тридцатых годов политические упоминания (фамилия Троцкого, резкие суждения о партии) и натуралистические детали. В сравнении с изданием 1931 года здесь появилось более 100 разнообразных изменений, имеющих отчетливый характер нивелирующей редакторской правки: вычеркнуты слишком оригинальные эпитеты; исчезли внешне бесполезные, но интонационно важные служебные слова; последовательно, даже в сказовых новеллах, восстановлены правильные написания отдельных слов и заглавные буквы; числительные обозначены не цифрами, а словами (при этом «Комбриг два» по недосмотру остался в оглавлении, как и в предыдущих изданиях, «Комбригом 2»). Вносил ли изменения

редактор или — под внешним давлением — сам автор, не так уж и важно. Все это не позволяет использовать последнее издание 1936 года как основной текст «Конармии».

В настоящем собрании сочинений за основу взято издание 1931 года, в котором в последний раз воспроизведена установившаяся композиция книги, но еще не появились вынужденные изменения, связанные с ужесточением цензурного режима 1930-х гг. К нему очень близко и издание 1933 года, хотя некоторые политические детали здесь уже исчезли.

Опубликованные позднее новеллы «Аргамак» (она механически поставлена в конец издания 1933 года) и «Поцелуй» (при жизни автора существовала лишь в журнальной публикации), как и никогда не включавшиеся в «Конармию» «Грищук» и «Их было девять», печатаются в особом разделе дополнений.

Сверка с изданиями 1933 и 1936 годов, а также с первыми публикациями, позволила исправить в тексте-источнике несколько десятков опечаток.

Переход через Збруч (с. 43)[*]

Впервые: Правда, 1924, № 175, 3 августа, рубрика: Из дневника, авторская датировка: Новоград-Волынск, июль 1920 г.

Костел в Новограде (с. 45)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1923, № 963, 18 февраля; рубрика: Из книги «Конармия».

---

[*] В скобках после названия произведения указана его страница в данном томе.

Речь Посполитая — название польско-литовского государства в 1569–1795 гг., возрождено в 1918–1939 гг.

Пильсудский (Пилсудский) Иозеф (Юзеф) (1867–1935) — польский государственный и военный деятель, маршал, с 1918 г. руководитель польского государства.

Радзивилл, Сапега — старинные польские княжеские роды, известные с XIV–XVII вв.

Петр — ученик Иисуса Христа, один из двенадцати апостолов, у католиков считается одним из первых епископов.

Франциск Ассизский (1181–1226) — католический святой, основатель ордена францисканцев, проповедовал бедность, всеобщую любовь и сострадание даже к «братьям» птицам; с ним связан сюжет картины в новелле «Пан Аполек».

Письмо (с. 48)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1923, № 957, 11 февраля; рубрика: Из книги «Конармия», авторская датировка: Новоград-Волынск, июнь 1920; повторно: Леф, 1923, № 4.

Бытовая основа рассказа зафиксирована в дневнике 9 августа 1920 г.: «Экипаж начдива, ординарец начдива Лёвка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, как он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село. “Зарезать” не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нему, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал, хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет? Нет, не думал. А надо было подумать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну да м. и., а теперь, Степан, будем тебя убивать. Оставили чуть теплого».

Бабель, однако, обостряет фабулу, превращая соседа в отца, а обиду — в убийство сына.

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) — советский военачальник, в 1919–1920 гг. командарм Первой Конной армии; о его отношении к книге Бабеля см. вступительную статью.

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — белый генерал, командующий Добровольческой армией на юге России, в 1919–1920 гг. армия Деникина была разгромлена, остатки ее укрылись в Крыму.

Начальник конзапаса (с. 54)

Впервые: Леф, 1923, № 4, август — декабрь, заглавие: Дьяков, авторская датировка: Белев, июль 1920 г.

Сжатая характеристика прототипа героя этой новеллы дана в бабелевском дневнике 13 июля 1920 г.: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична <…> Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, каждый раз теряет их, одолела, говорит, канцелярщина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты. Тачанка и пара тощих лошадей, о лошадях».

В записи 17 июля 1920 г. дан набросок фабулы: «Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую — 20 тысяч. Ежели поднимется, значит, это лошадь».

Начальник штаба Ж. — имеется в виду начальник штаба 6 кавалерийской дивизии Константин Карлович Жолнаркевич. 11 июля 1920 г. Бабель дает в дневнике его краткую характеристику: «Жолнаркевич — старый служака, точный, работоспособный без надрыва, энергичный без шума, польские усы, польские тонкие ноги. Штаб — это Жолнаркевич, еще 3 писаря, заматывающихся к ночи». Упоминается также в «Планах и набросках к “Конармии”».

Пан Аполек (с. 56)

Впервые: Красная новь, 1923, № 7, декабрь, рубрика: Миниатюры.

Смерть Крестителя — Иоанн Креститель (Предтеча) — пророк, предсказавший явление Иисуса Христа, крестивший его и множество соплеменников в реке Иордан; казнен царем Иродом; голову Иоанна подали на блюде дочери Ирода Саломее.

Выкрест — еврей, перешедший из иудаизма в христианство.

Гейдельбергские песни — Гейдельберг — город в Германии, где находился старейший университет (основан в 1386 г.); с ним были связаны так называемые гейдельбергские романтики, немецкие писатели начала XIX века (Эйхендорф, Брентано, братья Гримм), собиравшие фольклор, в том числе песенный.

Шинок — питейное заведение, кабак, трактир.

Смарагд — изумруд.

Бенедиктин — вид ликера.

Патер — католический священник.

Францисканцы — монахи ордена Франциска Ассизского (см. примечание к «Костелу в Новограде»), нищенствующие проповедники.

Волхвы — восточные маги, жрецы, узнавшие по явлению чудесной звезды о рождении Мессии и первыми пришедшие поклониться младенцу Иисусу.

Лев XIII (1810–1903) — римский папа с 1878 г.

Тайная вечеря — последняя совместная трапеза Иисуса Христа с апостолами в канун Страстной пятницы, во время которой он предрекает предательство Иуды и призывает учеников к взаимной любви.

Побиение камнями Марии из Магдалы — один из евангельских сюжетов: Иисус Христос спасает грешницу-блудницу, которую собирались побить камнями, обращаясь к людям: «А кто из вас без греха?» С евангельской Марией Магдалиной этот сюжет связывают не всегда.

Павел — один из двенадцати апостолов, считается автором включенных в Новый Завет 14 посланий.

Иисус, сын Марии, был женат на Деборе… — Аполек излагает неканоническую историю, евангельский апокриф.

Марк, Матфей — апостолы, авторы двух первых евангелий Нового Завета.

Солнце Италии (с. 66)

Впервые: Красная новь, 1924, № 3, апрель — май, заглавие: Сидоров, авторская датировка: Новоград, июль 1920 г.

Харьков, самодельная столица — в 1918–1934 гг. Харьков был столицей Украинской советской социалистической республики.

Цека — центральный комитет партии большевиков.

Наркоминдел — народный комиссариат иностранных дел.

Чека — чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.

Виктор-Эммануил (1869–1947) — последний король Италии, в 1900–1946 гг.

Гедали (с. 70)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1370, 29 июня, подзаголовок: Из книги «Конармия», авторская датировка: Житомир, июнь 1920 г.; повторно: Красная новь, 1924, № 4, июнь — июль.

Бытовая основа рассказа отражена в дневнике 3 июня 1920 г. (первая сохранившаяся дневниковая запись, сделанная в Житомире): «Рынок. Маленький еврей философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р.».

Ибн-Эзра (Авраам Бен Мейр, 1092–1167) — средневековый еврейский богослов, ученый поэт, один из толкователей и критиков Ветхого Завета.

Синагога — молитвенный дом и религиозная община верующих иудеев.

Диккенс Чарльз (1812–1870) — английский писатель; вероятно, имеется в виду его роман «Лавка древностей».

Талмуд — см. прим. к «Автобиографии».

Раше (Рашэ, Соломон Исхак, 1040–1105) — средневековый толкователь Библии и Талмуда.

Маймонид Моисей (Моше Бен Маймон, 1135–1204) — еврейский философ и ученый, стремился рационализировать иудаизм, увязать, соотнести религиозное откровение и арабский аристотелизм, жил в Египте.

Интернационал — международное товарищество рабочих, первая массовая организация пролетариата, основанная К. Марксом и Ф. Энгельсом в Лондоне в 1864 г., распущен в 1874 г. В 1889 г. в Париже был создан 2-й Интернационал. В марте 1919 г. в Москве учрежден 3-й, коммунистический Интернационал, Коминтерн. Вероятно, его имеет в виду Гедали, защищая свой Интернационал добрых людей.

Мой первый гусь (с. 74)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1323, 4 мая, подзаголовок: Из книги «Конармия», авторская датировка: июль 1920 г.; повторно: Леф, 1924, № 1.

Штандарт — полковое знамя в кавалерии.

Киндербальзам (*нем.*) — детский бальзам; здесь: маменькин сынок.

…прочесть в «Правде» речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна — Второй конгресс Коминтерна (см. прим. к «Гедали») состоялся в Петрограде и Москве. 19 июля 1920 г. Ленин сделал на нем доклад «О международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала», опубликованный в «Правде» 24 июля.

Рабби (с. 79)

Впервые: Красная новь,1924, № 1, январь — февраль; повторно: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1280, 9 марта, авторская датировка: Житомир, июнь 1920 г.

Бытовая основа рассказа отражена в дневниковой записи 3 июня 1920 г., сделанной в Житомире: «Заходит суббота, от тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный декаданс. Сам цадик — его широкоплечая, тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике… <…>

Лицо цадика, никелевое пенсне:

— Откуда вы, молодой человек?

— Из Одессы.

— Как там живут?

— Там люди живы.

— А здесь ужас.

Короткий разговор.

Ухожу потрясенный».

Рабби (древнееврейское — мой учитель) — руководитель еврейской общины, то же, что и раввин.

Хасидизм — религиозно-мистическое течение в иудаизме, возникшее в начале XYIII в. на территории Украины и Польши, как раз там, где происходит действие бабелевской книги.

Герш из Острополя (Гершеле Осрополлер) — герой цикла популярных еврейских анекдотов, остряк и пройдоха.

Спиноза Бенедикт (1632–1677) — голландский философ, по происхождению — еврей.

Путь в Броды (с. 82)

Впервые: Литературно-научное приложение к «Известиям Одесского губисполкома…», 1923, № 1060, 17 июня, рубрика: Из

книги «Конармия», авторская датировка: Броды, август 1920 г.; повторно: Прожектор, 1923 , № 21.

Учение о тачанке (с. 84)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1923, № 967, 23 февраля, рубрика: Из книги «Конармия»; повторно: Прожектор, 1923, № 21.

Махно Нестор Иванович (1889–1934) — анархист, в 1918–1921 гг. возглавлял крестьянское движение на Украине, выступавшее под лозунгами «безвластного государства», «вольных советов»; воевал и с белыми, и с красными, и с немецкими оккупантами.

Клуня (*укр*.) — сарай для сушки и обмолота хлеба.

Святая Урсула — христианская святая-мученица, убитая гуннами; ее именем назван женский орден урсулинок.

Раввин (от древнееврейского рабби — мой учитель) — руководитель общины верующих, ср. *рабби*.

Смерть Долгушова (с. 88)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1923, № 1022, 1 мая, рубрика: Из книги «Конармия», авторская датировка: Броды, август 1920 г.; повторно: Огонек, 1923, № 9; Леф, 1923, № 4, август — декабрь.

Некоторые мотивы новеллы первоначально сформировались в «Планах и набросках к “Конармии”».

Комбриг 2 (с. 93)

Впервые: Леф, 1923, № 4, август — декабрь, заглавие: Колесников, авторская датировка: Броды, август 1920 г.

— Колесников повел бригаду... И мы услышали великое безмолвие рубки. — В издании 1931 года, как и в более поздних, этот фрагмент был сильно сокращен: «— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

"Ура" смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки».

Трудно представить, что внимательный к каждому слову писатель уничтожил тщательно выстроенное развитие действия, выводящее на ключевой оксюморон «услышали великое безмолвие рубки»: повторяющиеся реплики комментирующего бой наблюдателя — реакция командарма — трижды упомянутое «ура». Без предшествующих деталей и реплика Буденного, и фраза о канонаде оказываются малопонятными. Предполагая здесь какой-то технический дефект, восстанавливаем текст по первой публикации: Леф, 1923, № 4. С. 71 (это единственная наша крупная конъектура в издании 1931 года).

Прославленный Книга — Книга В. И. (1882–1961), военком, позднее командир бригады, неоднократно упоминается в бабелевском дневнике с другими, менее восторженными эпитетами: «Прискакали Колесов и Книга (знаменитый Книга, чем он знаменит). Великолепная лошадь Колесова, у Книги лицо хлебного приказчика, деловитый хохол» (запись 19 июля 1920 г.).

Сашка Христос (с. 95)

Впервые: Известия Одесского губисполкома..., 1924, № 1256, 10 февраля, рубрика: Из книги «Конармия», повторно: Красная новь, 1924, № 1, январь — февраль.

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча (с. 102)

Впервые: Шквал (Одесса), 1924, № 8, 24 декабря; повторно: 30 дней, 1925, № 1.

Сюжет новеллы первоначально формируется в «Планах и набросках к “Конармии”».

Кладбище в Козине (с. 108)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1923, № 967, 23 февраля, рубрика: Из книги «Конармия»; повторно: Прожектор, 1923, № 21.

Миниатюра сложилась из дневниковых записей о нескольких встреченных во время похода еврейских кладбищах.

18 июля 1920 г.: «Еврейское кладбище за Малином, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм».

21 июля 1920 г.: «Кладбище, разрушенный домик рабби Азраила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом, эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания…»

Горельеф — скульптурное изображение, выступающее над плоскостью фона более чем на половину своего объема; форма, противопоставленная барельефу.

Хмельницкий Богдан (ок. 1595–1657) — гетман Украины, в 1654 г. провозгласил объединение Украины с Россией.

Прищепа (с. 109)

Впервые: Литературно-научное приложение к «Известиям Одесского губисполкома…», 1923, № 1060, 17 июня, рубрика: Из книги «Конармия», авторская датировка: Демидовка, июль 1920; повторно: Леф, 1923, № 4, август — декабрь.

В «Планах и набросках к “Конармии”» сохранились черновики новеллы.

История одной лошади (с. 111)

Впервые: Красная новь, 1924, № 3, апрель — май, заглавие: Тимошенко и Мельников, авторская датировка: Радзивиллов, июль 1920 г.

Фабула новеллы намечена в «Планах и набросках к “Конармии”».

Причины замены подлинных фамилий на вымышленные Бабель объяснил в письме в редакцию журнала «Октябрь» (сентябрь — октябрь 1924 г.):

«В 1920 году я служил в 6-й дивизии I Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую, боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных

фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать, и вот к величайшему моему огорчению — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке «Тимошенко и Мельников», помещенном в 3-й книге журнала «Красная новь» за 1924 г. Все дело тут в том, что материалы для этого номера я сдавал поздно, редакция и, главное, типография торопили меня чрезвычайно, и в спешке этой я упустил из виду необходимость переменить в чистовых первоначальные фамилии. Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начдивом 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров.

И. Бабель».

Конкин (с. 115)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1301, 6 апреля, рубрика: Из книги «Конармия», авторская датировка: Дубно, август 1920 г.; повторно: Красная новь, 1924, № 3, апрель — май.

Винт — винтовка.

…ведет в штаб Духонина для проверки документов — Духонин Николай Николаевич (1876–1917) — генерал, убитый солдатами во время октябрьской революции; вести в штаб Духонина — убивать, расстреливать.

Берестечко (с. 119)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1273, 1 марта, рубрика: Из книги «Конармия», авторская датировка: Берестечко, август 1920 г.; повторно: Красная новь, 1924, № 3.

Хедер — еврейская религиозная начальная школа.

Цадик — еврейский святой, праведник, учитель, чудотворец.

Соль (с. 123)

Впервые: Литературно-художественнное приложение к «Известиям Одесского губисполкома…», 1923, № 1195, 25 ноября, рубрика: Из книги «Конармия»; повторно: Леф, 1923, № 4, август — декабрь.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — один из вождей большевиков, в описываемое время — народный комиссар по военным делам, председатель Реввоенсовета.

Вечер (с. 127)

Впервые: Красная новь, 1925, № 3, апрель, рубрика: Из дневника, заглавие: Галин, рубрика: Из дневника, авторская датировка: Ковель, 1920 г.

РКП — Российская коммунистическая партия (большевиков).

Николай Кровавый — прозвище последнего российского императора Николая II (1868–1918), данное ему в радикальных кругах после гибели в Москве на Ходынском поле во время празднований, посвященных коронации (1896), множества людей; расстрелян вместе с семьей и слугами большевиками в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 июля 1918 г.

Петр III (1728–1762)— российский император с 1761 г.; свергнут в результате дворцового переворота; убит в Ропше Алексеем Григорьевичем Орловым (1737–1807/1808), фаворитом сменившей его на троне жены Екатерины II.

Павел I (1754–1801) — российский император, сын Петра III и Екатерины II, убит во время дворцового переворота с ведома его сына, следующего императора Александра I (1777–1825).

Николай Палкин — прозвище императора Николая I (1796–1855); его отравление — историческая легенда.

…сын пал первого марта… — Речь идет об императоре Александре II (1818–1881), убитом народовольцами 1 марта 1881 г.

…внук умер от пьянства… — Имеется в виду император Александр III (1845−1894).

Афонька Бида (с. 131)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1273, 1 марта; повторно: Красная Новь, 1924, № 1, январь — февраль.

Казакин — мужская и женская верхняя одежда, короткий кафтан со сборками сзади.

У Святого Валента (с. 138)

Впервые: Красная новь,1924, № 3, апрель — май, авторская датировка: Берестечко, август 1920 г.

Олоферн — библейский персонаж, ассирийский полководец, убитый молодой вдовой Юдифью, спасавшей родной город; распространенный живописный сюжет: Юдифь с отрубленной головой Олоферна.

Кунтуш — польский кафтан.

Эскадронный Трунов (с. 143)

Впервые: Красная новь, 1925, № 2, февраль, подзаголовок: Из книги «Конармия», повторно: Шквал (Одесса), 1925, №13, 10 марта.Основой рассказа послужили заметка в газете «Красный кавалерист», а также планы и наброски.

Каббала — средневековое религиозно-мистическое учение, распространенное среди приверженцев иудаизма и включающее философию, гадание и магические процедуры.

Иваны (с. 153)

Впервые: Русский современник, 1924, № 1, подзаголовок: Из книги «Конармия».

В дневниковой записи 7 августа 1920 г. есть упоминание, которое послужило основой для одного из эпизодов этой новеллы: «Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовищно».

Аналогичная запись встречается в «Планах и набросках к “Конармии”».

Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936) — в 1919–1924 гг. главнокомандующий вооруженными силами Советской республики.

Лекпом — лекарский помощник.

Фармазонщик — здесь: симулянт, обманщик.

Продолжение истории одной лошади (с. 161)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1307, 13 апреля, рубрика: Из книги «Конармия», заглавие: Тимошенко и Мельников, авторская датировка: Галиция, сентябрь 1920 г.; повторно: Красная новь, 1924, № 3, апрель — май.

Вдова (с. 163)

Впервые: Литературно-художественное приложение к «Известиям Одесского губисполкома…», 1923, № 1084, 15 июля, рубрика:

Из книги «Конармия», заглавие: Шевелев, авторская датировка: Галиция, август 1920 г.; повторно: Красная новь, 1924, № 3, апрель — май.

В первой публикации один из важных эпизодов новеллы был интонирован по-иному. В нем подчеркивалась не верность, а равнодушие и цинизм будущей вдовы, изменяющей Шевелеву с Левкой почти на глазах умирающего. Приводим соответствующий эпизод с выделением выброшенных мест:

«Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, Четырнадцатую дивизию погнал...

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной».

В двухтомнике 1990 года этот фрагмент без всяких обоснований введен в основной текст, хотя он отсутствует в изданиях 1931 и 1936 гг.

Замостье (с. 168)

Впервые: Красная новь, 1924, № 3, апрель — май, авторская датировка: Сокаль, сентябрь 1920 г.

Измена (с. 173)

Впервые: Красная газета (Ленинград), вечерний выпуск, 1926, № 62, 13 марта, примечание: Неизданная глава из книги «Конармия»; повторно: литературно-художественный альманах «Пролетарий», М., 1926.

Чесники (с. 178)

Впервые: Красная новь, 1924, № 3, апрель — май.

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — член Реввоенсовета Первой Конной армии, наряду с Буденным считался ее руководителем.

После боя (с. 183)

Впервые: Прожектор, 1924, № 20, октябрь, подзаголовок: Из книги «Конармия», повторно: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1477, 2 ноября, авторская датировка: Галиция, сентябрь 1920 г.

Молокан — член религиозной секты духовных христиан; молокане проповедовали упрощение религиозных обрядов, нравственное самоусовершенствование, отказ от воинской службы и ношения оружия.

Песня (с. 188)

Впервые: Красная новь, 1925, № 3, апрель, рубрика: Из дневника, заглавие: Вечер, авторская датировка: Сокаль, VIII, 1920 г.

Гирло — местное название рукавов или проток в дельтах рек, впадающих в Азовское и Черное моря.

Сын рабби (с. 191)

Впервые: Красная новь, 1924, № 1, январь — февраль; повторно: Известия Одесского губисполкома…, 1924, № 1280, 9 марта, авторская датировка: Бердичев, сентябрь 1920.

Талес — одежда для молитвы.

Тора — традиционное еврейское название Пятикнижия, пяти первых книг Ветхого Завета.

Шестой съезд партии — состоялся 26 июля — 3 августа 1917 г. в Петрограде; на нем было принято решение о подготовке вооруженного восстания для свержения Временного правительства.

Песнь песней — одна из книг Ветхого Завета, сборник любовных песнопений, приписываемый царю Соломону.

Дополнения к «Конармии»

Аргамак (с. 195)

Впервые: Новый мир, 1932, № 3, март, авторская датировка: 1924–1930.

Дундич Олеко (1897–1920) — хорват, легендарный герой Первой Конной армии, о его гибели упоминается также в дневнике.

Поцелуй (с. 201)

Впервые: Красная новь, 1937, № 7, июль.

Интересна запись в «Дневнике читателя» драматурга А. К. Гладкова, тонко почувствовавшего отличие нового рассказа от установившегося, «канонического» текста «Конармии»:

«29 августа 1937

…Новый рассказ Бабеля “Поцелуй” примыкает к конармейскому циклу, но менее живописен, суше, реалистически точнее, и внутренний лиризм его спрятан глубоко под поверхностью повествования» (Гладков А. Поздние вечера. М., 1986. С. 297).

Грищук (с. 208)

Впервые: Известия Одесского губисполкома…, 1923, № 967, 23 февраля, рубрика: Из книги «Конармия».

В книгу, однако, рассказ никогда не включался.

О герое упоминается в дневниковой записи 13 июля 1920 г.: «Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летний Грищук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому (он из Кременецкого уезда), не пускают, молчит». В записи 21 июля есть пометка: «Описать Грищука».

Имя Грищука также неоднократно встречается в «Планах и набросках к “Конармии”».

Их было девять (с. 210)

Впервые: Огонек, 1989, № 4, авторская датировка: Гликсталь, 4.08.23.

Материал использован в одном из эпизодов новеллы «Эскадронный Трунов».

Фольварк — небольшая усадьба, хутор.

Статьи из газеты «Красный кавалерист»

Побольше таких Труновых!   (с. 215)

Впервые: Красный кавалерист, 1920, 13 августа, подпись: военный корреспондент 6 кавдивизии К. Лютов.

В книге «Конармия» Трунову посвящена отдельная новелла, «Эскадронный Трунов», записи к ней см. в «Планах и набросках к “Конармии”». Однако реальный человек претерпел существенные изменения при превращении в литературного героя: из Константина он превратился в Павла, погиб не от панской пули, а в сражении с американскими аэропланами.

Рыцари цивилизации   (с. 216)

Впервые: Красный кавалерист, 1920, 14 августа, подпись: К. Л.

Недобитые убийцы   (с. 218)

Впервые: Красный кавалерист, 1920, 17 сентября, подпись: военный корреспондент 6 кавдивизии К. Лютов.

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) — барон, один из руководителей Белого движения в Гражданскую войну, с 1920 г. главком так называемой Русской армии на юге России.

Потоцкие и Таращицкие — известные дворянские фамилии, члены которых играли большую роль в истории и культуре Польши.

Ее день   (с. 220)

Впервые: Красный кавалерист, 1920, 18 сентября, подпись: К. Лютов.

Дневник 1920 года

Впервые полностью: Бабель И. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 362–435.

Тетрадь с дневниковыми записями Бабеля во время конармейского похода была оставлена в Киеве в конце 1920-х гг. у М. Я. Овруцкой, затем она перешла к Б. Е. и Т. О. Стах. Дневник сохранился не полностью: записи начинаются с 55 страницы и охватывают время с 3 июня по 15 сентября 1920 г. Кроме того, отсутствуют страницы с записями между 6 июня и 11 июля. Таким образом, из семи месяцев пребывания Бабеля в составе Первой Конной армии (май — ноябрь 1920 г.) дневник документирует менее трех.

В печати первым о дневнике сообщил И. Г. Эренбург: сначала в предисловии к бабелевскому «Избранному» (1957), затем — в третьей книге мемуаров «Люди, годы, жизнь» (1963). Дневниковые записи были также использованы в публикациях «Из планов и набросков к “Конармии”» (Литературное наследство. Т. 74. М., 1965) и «Первая Конная в боях и походах» (Литературная газета, 1971, № 45, 3 ноября).

Обширная публикация дневников состоялась много позднее: Дружба народов, 1989, № 4–5.

Текст в двухтомнике был подготовлен на основе этой публикации по рукописи, хранящейся у А. Н. Пирожковой.

В одном из последних выступлений (1938) Бабель говорил о связи дневника и «Конармии»: «Во время кампании я написал дневник, к сожалению, большая часть его погибла. В дальнейшем я писал, пользуясь этим дневником, — уже больше по воспоминаниям,

и отсутствие, может быть, единства или сюжета объясняется отсутствием этого дневника» (Бабель И. Сочинения. Т. 1. С. 464–465). Однако дневник можно рассматривать не просто как полуфабрикат, бытовую основу «Конармии», но и как замечательное свидетельство очевидца, самостоятельное произведение документальной литературы.

Комментарий к тексту неполон: имена многих знакомых Бабеля в Первой Конной армии, к сожалению, не поддаются комментированию.

Житомир, 3 июня (с. 222)

Сплю с Жуковым, Топольником... — Жуков Н., Топольник — сотрудники газеты «Красный кавалерист».

Югроста — украинское отделение Российского телеграфного агенства, РОСТА.

Маленький еврей философ — Прототип героя рассказа «Гедали».

Цадик — см. прим. к новелле «Берестечко».

Декаданс (*фр*.) — упадок.

Житомир, 4 июня (с. 225)

Гамсун Кнут (1859–1952) — норвежский писатель, популярный в России начала XX века.

Иов — персонаж Ветхого Завета, праведник, не ропщущий на Бога, несмотря на преследующие его многочисленные несчастья.

Житомир, 5 июня (с. 226)

Ешива — еврейская религиозная школа.

Бохер — слушатель, ученик ешивы.

Магнето — электромагнитный прибор для зажигания горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания.

Зотов С. А. (1882–1938) — начальник полевого штаба Конармии (начполештарм).

Ровно, 6 июня (с. 229)

Фура — длинная конная повозка (обычно крытая).

Талес — см. прим. к «Сыну рабби».

Наштадив — начальник штаба дивизии.

Сенкевич Генрих (1846–1916) — польский писатель, автор популярных исторических романов.

Белёв, 11 июля (с. 232)

Дундич — см. прим. к «Аргамаку».

Я рассказываю им о ноте Вильсону… — вероятно, речь идет об американском президенте Томасе Вудро Вильсоне (1856–1924), при котором США начали интервенцию в Россию на Севере и Дальнем Востоке.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) — русский военачальник, участник первой мировой войны, с 1920 г. служил в Красной армии.

Белёв, 12 июля (с. 234)

Опродком — особая продовольственная комиссия.

Белёв, 14 июля (с. 239)

Дойль Артур Конан (1859–1930) — английский писатель, прославившийся детективными рассказами о Шерлоке Холмсе.

Тимошенко Семен Константинович (1895–1970) — командир 6-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии, позднее — Маршал Советского Союза; в «Конармии» изображен под именем Савицкого (см. «История одной лошади», первоначальное заглавие — «Тимошенко и Хлебников»; «Продолжение истории одной лошади»); упоминается также в «Планах и набросках».

Белёв, 15 июля (с. 241)

Бахтуров Павел Васильевич (1889–1920) — комиссар нескольких кавалерийских дивизий Первой Конной армии, убит в бою с врангелевцами.

Пилсудский — см. «Костел в Новограде».

Речь Посполитая — см. «Костел в Новограде».

Новоселки, 16 июля (с. 242)

Кондотьеры — беспринципные наемники.

М. Дорогостай—Смордва—Бережцы, 19 июля (с. 247)

Начдив 14 — Александр Яковлевич Пархоменко (1886–1921), начальник 14 кавалерийской дивизии с апреля 1920 г., погиб в бою с махновцами 3 января 1921 г.

Колесов Н. П. — командир одного из полков 6 кавдивизии.

Книга — см. прим. к рассказу «Комбриг 2».

Высоты у Смордвы. Пелча, 20 июля (с. 250)

Узнали о том, что Англия предложила мир Сов. России с Польшей… — Соглашение о перемирии было подписано 12 октября 1920 г. в Риге.

Боратин, 22 июля (с. 254)

Полештарм — полевой штаб армии.

В Вербе, 23 июля (с. 255)

...штаб 45-й дивизии — 45-я стрелковая дивизия под командованием Ионы Эммануиловича Якира (1896–1937) с июня по август 1920 года входила в состав Первой Конной.

…будет вам небо в алмазах... — горько-ироническая перефразировка реплики Сони в финале пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» (1897): «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах…»

24 июля (с. 259)

Штарм — штаб армии.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) — русский писатель, воспринимавшийся после романа «Санин» (1907) как порнографический автор.

…завтра пост 9 Аба, и я молчу, потому что я русский — 9 Аба у евреев день поста и траура в память двукратного падения Иерусалима; в Конармии Бабель находился с документами на имя Кирилла Васильевича Лютова, скрывая свою национальность.

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) — русский историк, автор известного гимназического учебника.

Перун — верховное божество в славянской мифологии, бог грозы.

25 июля (с. 262)

Плевицкая Надежда Васильевна (1884–1941) — русская певица, исполнительница романсов, с 1920 г. в эмиграции.

...униатская церковь... — греко-католическое христианское объединение, созданное Брестской унией в 1596 г. на территории Западной Украины; при сохранении православных обрядов униаты подчинялись папе римскому; существовала до 1946 г.

Хотин, 28 июля (с. 266)

Письмо Жене, тоска по ней... — Имеется в виду первая жена Бабеля Евгения Борисовна Гронфайн (?–1957).

Броды, 30 июля (с. 270)

Шамес — служка в синагоге.

Пейсы — длинные неподстриженные пряди волос на висках, элемент прически патриархальных евреев, иудейских священнослужителей; по канонам иудаизма мужчина должен иметь пейсы, бороду и непременно носить головной убор.

Броды — Лешнюв, 31 июля (с. 272)

Болеславы — польская королевская династия, правившая с XI века и объединившая польские земли.

Тетмайер Казимеж (1865–1940) — польский писатель.

Гржималовка, Лешнюв, 1 августа (с. 273)

III Интернационал — см. прим. к «Гедали».

Что такое Михаил Карлович? — Жолнаркевич М. К. — брат начальника штаба 6 кавдивизии К. К. Жолнаркевича.

Белавцы, 2 августа (с. 275)

Корочаев Д. Д. — во время болезни Оки Ивановича Городовикова (1879–1960) временно исполнял обязанности начдива; неоднократно упоминается в «Планах и набросках», а также в начале рассказа «Смерть Долгушова».

3 августа (с. 277)

Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю... — Мотив использован в новелле «Комбриг 2».

4 августа (с. 281)

Сухаревка — известный московский рынок, находившийся на площади у Сухаревой башни.

Шеко Я. В. — с августа 1920 г. начальник штаба 6 кавдивизии при новом начдиве Апанасенко.

Апанасенко Иосиф Родионович (1890–1943) — в августе — октябре 1920 г. начдив 6, сменивший на этой должности С. К. Тимошенко.

Хмельницкий Р. П. — адъютант у Ворошилова.

Берестечко, 7 августа (с. 285)

Русский менаде — здесь: русский брак, русская пара.

Пий X — римский папа в 1903–1914 гг.

Рембрандт Харменс Ван Рейн (1606–1669) — нидерландский живописец, автор картин на евангельские сюжеты.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1618–1682) — испанский живописец.

Гауптман Герхарт (1862–1946) — немецкий драматург, его драма «Эльга» написана на сюжет новеллы австрийского писателя Франца Грильпарцера (1791–1872) «Сендомирский монастырь».

Восстание в Индии — вероятно, имеется в виду национально-освободительная борьба в Индии в 1918–1922 гг.; одним из ближайших ко времени действия бабелевского рассказа ее эпизодов был митинг протеста в г. Амритсар, закончившийся расстрелом (так называемая «Амритсарская бойня»).

Берестечко, 8 августа (с. 288)

«Журнал для всех» — известный литературный и научно-популярный журнал, выходивший в России в 1897–1906 гг.

Открытие II конгресса III Интернационала — второй конгресс III Коминтерна открылся 19 июля 1920 г. в Петрограде и завершился 17 августа в Москве; с докладом о международном положении на нем выступал В. И. Ленин.

Лашков, 9 августа (с. 290)

…эпический разговор: хорошо тебе, Степан? — Мотив использован в новелле «Письмо».

Другой рассказ о сестре милосердия Шурке — В сильно измененном виде эта запись стала основой новеллы «Вдова».

Лашков, 10 августа (с. 292)

Четьи-Минеи — сборники житий святых, составленные по календарному принципу, в связи с днями чествования каждого святого.

Шептицкий Андрей — глава униатской церкви на Западной Украине с 1900 г.

Русины (от Русь) — название украинцев из западно-украинских земель, имевшее наибольшее распространение во время пребывания этих территорий в составе Австро-Венгерской империи.

Думенко Борис Мокеевич (1888–1920) — военачальник, командовал кавалерийским корпусом на Юго-Восточном фронте, расстрелян по ложному обвинению в подготовке мятежа.

Лашков, 11 августа (с. 293)

Уточкин Сергей Исаевич (1876–1915/1916) — один из первых российских летчиков, получивший широкую известность многочисленными показательными полетами.

Георгий — военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, одна из высших наград в Российской империи, для награждения офицеров и генералов за военные отличия; имел 4 степени, упразднен 10 ноября 1917 г.

Шкуро (Шкура) Андрей Григорьевич (1887–1947) — участник Белого движения, в годы гражданской войны командовал конным корпусом в Вооруженных силах Юга России.

Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович (1869–1920) — один из лидеров Белого движения, командир конного корпуса в Вооруженных силах Юга России.

18 августа (с. 299)

Бебель Август (1840–1918) — немецкий социалист, сторонник женской эмансипации, книга «Женщина и социализм» вышла в 1879 г.

Апокалипсис (*греч.* — откровение) — последняя книга Нового Завета, предсказывающая конец света и Страшный суд.

Адамы, 22 августа (с. 311)

Муравьев Михаил Артемьевич (1880–1918) — левый эсер, с 3 июня 1918 г. командовал Восточным фронтом, 10 июля поднял антисоветский мятеж в Симбирске, убит при аресте.

Сокаль, 26 августа (с. 313)

Сестра — 26 и 1. — Возможно, намек на рассказ М. Горького «Двадцать шесть и одна».

Комаров, 28 августа (с. 316)

Яковлев — командир казачьей бригады, отличавшейся еврейскими погромами, грабежами и изнасилованиями

30 августа (с. 320)

«Их было девять» — см. одноименный рассказ.
Левда Я. А. — комбриг 3 в 14 кавдивизии.

Теребин, 1 сентября (с. 324)

Начало конца 1-й Конной — В конце сентября 1-я Конная перешла в резерв и подчинение Главкома вооруженных сил РККА.

Владимир-Волынский, 9 сентября (с. 330)

Совнархоз — совет народного хозяйства, в 1917–32 гг. орган управления промышленностью в губерниях, краях и областях.

Ковель, 10 сентября (с. 331)

Поарм — политотдел армии.

Зданевич В. — редактор газеты «Красный кавалерист».

Ковель, 11 сентября (с. 331)

Армупроста — вероятно, Армейское управление РОСТА (Российского телеграфного агенства).

Планы и наброски к «Конармии» (с. 335)

Впервые: Литературное наследство. Т. 74. М., 1965. Публикация И. А. Смирина. Опубликовано приблизительно $^2/_3$ сохранившихся записей.

Печатается по: Литературное обозрение. 1995. № 2. С. 49–56. Подготовка текста и комментарии Э. Когана.

Подробное описание документа см: Коган Э. Работа над «Конармией» в свете полной версии «Планов и набросков» // Литературное обозрение. 1995. № 1. С. 88–93 (то же: Вопросы литературы. 1995. Вып. 1. С. 78–87).

Записи Бабеля сохранились на отдельных листках и оборотах рукописей, в том числе на обрывках, где остались лишь части фраз. Нумерация страниц в квадратных скобках и предположительные прочтения в ломаных скобках принадлежат публикатору Э. Когану.

Константин Карлович — речь идет о начальнике штаба 6-й дивизии Конной армии К. К. Жолнаркевиче; он часто упоминается в дневнике, а также новелле «Начальник конзапаса» («начальник штаба Ж.») — см. комментарий к этой новелле.

Грищук — один из главных героев бабелевского дневника, является действующим лицом в «Учении о тачанке» и «Смерти Долгушова», ему также посвящена не вошедшая в книгу одноименная новелла.

Плач Иеремии — одна из книг Ветхого завета, по традиции приписываемая еврейскому пророку (VII — начало VI вв. до н. э.); с Иеремией связывают также ветхозаветную «Книгу царей».

Будем пихать — глагол употреблен в сексуальном значении. В том же значении используется в дневнике, запись 24 июля (исправлено согласно прочтению Э. Когана).

Клепать — то же, что и *пихать* (см. выше).

«Русское Богатство» — либерально-народнический журнал, выходивший в 1876–1918 гг. под редакцией Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко.

Починок — мелкое сельское поселение в России XV–XX вв.

Сплю в поле, привязав стремя к ноге — мотив, в трансформированном виде использованный в новелле «Замостье»: герой привязывает повод к ноге и видит страшный сон, в то время как лошадь тащит его по полю.

Конкин — герой одноименной новеллы.

Авраам — ветхозаветный патриарх и родоначальник еврейского народа.

В грехах как в репьях — пословица, использованная в раннем варианте новеллы «Вдова» (см. прим. к ней).

Своя рогожа чужой рожи дороже — использовано в новелле «Иваны» (реплика санитара Сойченко).

Описание боя. Корочаев. Смерть раненого на моих руках — в трансформированном виде мотив использован в новелле «Смерть Долгушова».

Выхожу по естественной нужде... Труп. Блещущий день... — мотив, существенно трансформированный в новелле «Иваны»: «Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой».

Бой, рубка в безмолвии — наблюдение, ставшее основой оксюморона в новелле «Комбриг 2»: «“Ура” смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки».

Колесников и Гришин — командир и комиссар бригады; в новелле «Комбриг 2» Колесников изображен под своей фамилией, а Гришин превратился в Алмазова.

Смерть польского генерала — реализована в одном из эпизодов новеллы «Конкин».

Manque (*франц.*) — не хватает.

Хасидизм с вытекшими глазницами — использовано в новелле «Рабби»: «С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории».

Апанасенко на пожаре, похож на Уточкина — этот, упоминаемый и в дневнике, конармеец, стал прототипом Павличенко, изображенного в новелле «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча», и упоминаемого в «Чесниках» и «Афоньке Биде»; об Уточкине см. прим. к дневнику.

Высокий неподвижный человек, грузный, как инспектор у Короленки — имеется в виду персонаж автобиографической книги В. Г. Короленко «История моего современника».

Описать бой с аэропланами. Казаки роют могилу. Труп Трунова — эта, как и другие записи на страницах 24–27 в разной степени реализованы в новелле «Эскадронный Трунов»; см. также прим. к заметке «Побольше таких Труновых!»

Помните Мельникова, белый жеребец, прошение в армию. Он кланяется и передает вам свою любовь — тяжбе вокруг белого жеребца посвящена новелла «История одной лошади», Мельников здесь превращен в Хлебникова.

Илья-Гаон (1720–1797) — выдающийся талмудист, противник хасидизма; гаон в переносном смысле — знаток талмуда, эрудит.

Баал-Шам (баал шем) (*евр*.) — знахарь, исцелитель, лечивший пациентов травами, а также амулетами и заговорами. Самый известный баал шем — Израиль Бешт (1700–1760), основатель хасидизма, называвшийся Баал Шем Тов, «добрый баал шем», «чудотворец». Он упоминается в одесских рассказах «Любка Казак» и «Карл-Янкель» (см. т. 1).

Шевелев — герой новеллы «Вдова» (первоначальное заглавие — «Шевелев»).

33–34 — остатки черновиков новеллы «Прищепа».

Питпункт — питательный пункт.

Ингулову — Смерть Долгушова — новелла «Смерть Долгушова» впервые опубликована в «Известиях Одесского губисполкома...» (1923, № 1022, 1 мая), редактором газеты был журналист и партийный работник С. Б. Ингулов (1893–1939).

О пчелах — мотив, которым начинается новелла «Путь в Броды»: «Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел. Мы осквернили неописуемые ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадливое тряпье издава-

ло зловонье в священных республиках пчелы. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел».

Стиль, размер. — Кладбище в Козине — еврейские кладбища дважды описаны в дневнике, 18 июля («за Малиным») и 21 июля (непосредственно в Козине); однако включенная в книгу новелла представляет собой не эмпирическое, а поэтическое изображение, своеобразное стихотворение в прозе, о чем свидетельствует и предварительное замечание для себя о стиле и размере.

Элоиза и Абеляр — Абеляр Пьер (1079–1142), французский философ, богослов и поэт, его любовь к Элоизе, закончившаяся уходом женщины в монастырь (1119) и отразившаяся в их переписке (1132–1135), стала таким же культурным мифом, как любовь Петрарки и Лауры или Ромео и Джульетты.

Пьетро Аретино (1492–1556) — итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.

Наполеон Бонапарт (1769–1821), французский полководец, император в 1804–1814 и в марте — июне 1815 г.

Франс Анатоль (настоящие фамилия и имя — Анатоль Франсуа Тибо, 1844–1924) — французский романист и публицист, лауреат Нобелевской премии (1921).

Алфавитный указатель произведений

Аргамак 195
Афонька Бида 131
Берестечко 119
Вдова 163
Вечер 127
Гедали 70
Грищук 208
Дневник 1920 г. 222
Ее день 220
Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча 102
Замостье 168
Иваны 153
Измена 173
История одной лошади 111
Их было девять 210
Кладбище в Козине 108
Комбриг два 93
Конкин 115
Костел в Новограде 45
Мой первый гусь 74
Начальник конзапаса 54
Недобитые убийцы 218
Пан Аполек 56
Переход через Збруч 43
Песня 188
Письмо 48
Планы и наброски к «Конармии» 335
Побольше таких Труновых! 215

После боя 183
Поцелуй 201
Прищепа 109
Продолжение истории одной лошади 161
Путь в Броды 82
Рабби 79
Рыцари цивилизации 216
Сашка Христос 95
Смерть Долгушова 88
Солнце Италии 66
Соль 123
Сын рабби 191
У Святого Валента 138
Учение о тачанке 84
Чесники 178
Эскадронный Трунов 143

Содержание

И. Сухих. **Киндербальзам среди кентавров** 5
Путь 7
Жанр 11
Мир 19
Автор 30

КОНАРМИЯ

Переход через Збруч 43 370
Костел в Новограде 45 370
Письмо 48 371
Начальник конзапаса 54 372
Пан Аполек 56 373
Солнце Италии 66 374
Гедали 70 375
Мой первый гусь 74 376
Рабби 79 376
Путь в Броды 82 377
Учение о тачанке 84 378
Смерть Долгушова 88 378
Комбриг два 93 378
Сашка Христос 95 379
Жизнеописание Павличенки,
Матвея Родионыча .102 380
Кладбище в Козине .108 380

Прищепа 109 381
История одной лошади 111 381
Конкин 115 382
Берестечко 119 382
Соль 123 383
Вечер 127 383
Афонька Бида 131 384
У Святого Валента 138 384
Эскадронный Трунов 143 384
Иваны 153 385
Продолжение истории одной лошади 161 385
Вдова 163 385
Замостье 168 387
Измена 173 387
Чесники 178 387
После боя 183 387
Песня 188 387
Сын рабби 191 388

Дополнения к «Конармии» 195 388
Аргамак 195 388
Поцелуй 201 388
Грищук 208 389
Их было девять 210 389

Статьи из газеты «Красный кавалерист» 215 390
Побольше таких Труновых! 215 390
Рыцари цивилизации 216 390

Недобитые убийцы	218	390
Ее день	220	390
Дневник 1920 г.	**222**	**391**
Планы и наброски к «Конармии»	**335**	**401**
Примечания	**367**	
Алфавитный указатель произведений	**407**	

Литературно-художественное издание

Исаак Бабель

Собрание сочинений
Том 2

Редактирование и корректура
Елена Кузьменок

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Подписано в печать 09.08.2006. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$.
Бумага для ВХИ. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2.
Тираж 3000 экз. Заказ № 670.

"Время"
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (495) 231 1864, (495) 959 4967
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО "ИПП "Уральский рабочий"
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 5-9691-0151-6
9 785969 101517



том 2

собрание сочинений